

Николай
ДАНИЛЕВСКИЙ



**РОССИЯ
И ЕВРОПА**



вся история
в одном томе



Вся история в одном томе

Николай Данилевский
Россия и Европа

«Издательство АСТ»

1869

УДК 94(47)+94(4)
ББК 63.3(2)+63.3(4)

Данилевский Н. Я.

Россия и Европа / Н. Я. Данилевский — «Издательство АСТ»,
1869 — (Вся история в одном томе)

ISBN 978-5-17-155356-2

Н. Я. Данилевский заслуженно признан классиком русской геополитики и основателем цивилизационного подхода к истории. Наиболее выдающиеся достижения Н. Я. Данилевского – теория культурно-исторических типов, и геополитическое цивилизационное учение о взаимоотношениях России и Европы и в этой связи об исторической судьбе России – и составили главное содержание его книги «Россия и Европа» (1869), которая является одним из фундаментальных сочинений в русской историко-социологической литературе последних двух столетий. Качественно новым, перспективным с точки зрения истории типом, Данилевский считает «славянский тип», наиболее полно выраженный в русском народе. И этот тип является совершенно отличным и отдельным от Европы. Сегодня в контексте вступления в острую фазу цивилизационного конфликта Россия – Запад, Данилевский оказывается востребованным более чем любой другой российский мыслитель, позволяя найти ответы на многие вопросы современности. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

УДК 94(47)+94(4)
ББК 63.3(2)+63.3(4)

ISBN 978-5-17-155356-2

© Данилевский Н. Я., 1869

© Издательство АСТ, 1869

Содержание

Предисловие	7
Глава I	16
Глава II	26
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Н. Я. Данилевский

Россия и Европа

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2023

Все права защищены.

Любое использование материалов данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается

Иллюстрация на обложке предоставлена фотобанком «Shutterstock»

Предисловие

I.

Автор предлагаемой вниманию читателей книги «Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому» (в дальнейшем – «Россия и Европа») – Николай Яковлевич Данилевский 4.12.(16.12)1822, с. Оберец Ливенского уезда Орловской губернии – 7(19).11.1885, Тифлис) – выдающийся отечественный мыслитель: ученый, философ, православный публицист; практический деятель в области народного хозяйства.

Родился в родовом поместье матери – Дарьи Ивановны. Отец Яков Иванович – армейский офицер, командовал гусарским полком, затем в чине генерал-майора командовал бригадой. Его служба была связана с постоянными переездами, и это заставило его в ранние годы отдать сына в пансион. В 1837 г. Н. Я. Данилевский был зачислен в Царскосельский лицей, где обучался за счет родителей. Одноклассник Н. Я. Данилевского П. П. Семенов впоследствии вспоминал, что в классе лицея Николай был «самым талантливым и самым разносторонне образованным из лицейских воспитанников».

В 1843–1847 гг. учился на физико-математическом факультете Петербургского университета. С 1845 г. посещал кружок М. В. Буташевича-Петрашевского, тот самый знаменитый кружок Петрашевского, в котором, в частности, познакомился с Ф. М. Достоевским. Впоследствии великий русский писатель весьма высоко оценил книгу Н. Я. Данилевского «Россия и Европа», подчеркнув, что она вносит существенный вклад в развитие национального самосознания. В 1848 г. Н. Я. Данилевский был арестован по делу Петрашевского и летом 1850 г. направлен в административную ссылку. Позднее участвовал в работе десяти научно-практических экспедиций по линии Министерства государственных имуществ.

Научные интересы Н. Я. Данилевского распространялись на целый ряд естественно-научных и гуманитарных дисциплин: ботанику, зоологию, экономику, этнографию, статистику, историю и, естественно, философию истории. В публицистике Н. Я. Данилевского рассматриваются актуальные общественно-политические и религиозные вопросы русской жизни второй половины XIX в.

Наиболее выдающиеся достижения Н. Я. Данилевского – теория культурно-исторических типов – первый вариант теории «локальных цивилизаций», (цивилизационной теории), предшествующий теориям О. Шпенглера, А. Тойнби и др., – и геополитическое цивилизационное учение о взаимоотношениях России и Европы и в этой связи – об исторической судьбе России. Учения эти и составили главное содержание книги «Россия и Европа», написанной в 1865–1868 гг. Впоследствии именно эта книга принесла мировую известность имени Н. Я. Данилевского.

Что представляет собой теория культурно-исторических типов, т. е. философско-историческое учение Н. Я. Данилевского? Здесь нужно пояснить, что на роль учения, раскрывающего сущность всемирной истории человечества, претендует целый ряд теорий, среди которых ведущими являются две – эволюционно-стадиальная, первым вариантом которой была всем нам хорошо известная теория прогресса, и оппозиционная эволюционно-стадиальной теории цивилизаций. Если сторонники теории эволюционно-стадиального типа считают, что во всемирной истории человечество восходит по общим для народов ступеням всемирно-исторического прогресса, то их оппоненты из числа сторонников теории цивилизаций полагают, что единой общечеловеческой цивилизации не существует, а человечество представляет собой совокуп-

ность самобытных, самостоятельных цивилизаций. В качестве философа истории Н. Я. Данилевский явился родоначальником теории цивилизаций (синоним: теория «локальных цивилизаций»), автором первого ее варианта – теории культурно-исторических типов. (II)

Однако для нас, россиян, значимость творчества Н. Я. Данилевского определяется отнюдь не только его выдающимся вкладом в развитие мировой философии истории. Не менее важным является творчество Н. Я. Данилевского как консервативного мыслителя. Здесь вновь уместно вспомнить высказывание великого русского писателя-мыслителя Ф. М. Достоевского о книге Н. Я. Данилевского «Россия и Европа». Ф. М. Достоевский отметил, что автор своим сочинением внес существенный вклад в развитие национального самосознания. Идеи Н. Я. Данилевского действительно заметно повлияли на развитие и эволюцию русской консервативной мысли, о чем ниже еще будет речь. (III)

II.

Чтобы понять, как была сформулирована философско-историческая теория культурно-исторических типов, изложенная Н. Я. Данилевским в книге «Россия и Европа», надо вспомнить об эволюции его социальных воззрений, а также об особенностях мировоззрения. В студенческие годы, увлекшись учением французского утопического социалиста Ш. Фурье, Данилевский на рубеже 1850–1860-х гг. отошел от этого учения и заинтересовался славянофильством, изучение которого привело к выводу, что последнее учение есть выражение требований народного чувства и не содержит убедительных ответов на доводы просвещенного разума. Данилевский поставил перед собой задачу превратить славянофильскую мечту в научно обоснованную теорию, исследовать проблемы создания самобытной славянской цивилизации.

В основе концепции Данилевского – православное мировоззрение ученого. Краеугольным камнем мировоззрения Данилевского было убеждение в существовании Бога – Творца миробытия. Миробытие характеризовалось тремя мировыми сущностями: духом, материей и движением. В качестве мировых сущностей три названных начала бытия носят всеобщий и универсальный характер и пронизывают собой все уровни тварного бытия – неорганическую и органическую природу и человеческий мир.

Вслед за Аристотелем и его последователями Данилевский полагал, что все конкретные начала, составляющие мировое сущее – неорганические, органические и социальные, – обладают сходной структурой и состоят из идеальной формы (морфологического принципа) и материи (неорганической или органической).

Важно также учесть точку зрения Данилевского на происхождение видов. Он полагал, что виды в природе являются самостоятельными и обособленными сущностями. Поэтому Данилевский не мог признать ключом к пониманию происхождения видов идею общего для органического мира эволюционного закона. Соответственно, в философии природы Данилевский стоял на антиэволюционистских позициях.

Из указанных посылок: славянофильский интерес к самобытным началам народной жизни; понимание социальных организмов как состоящих из идеальных начал и органической материи и из антиэволюционистской философии природы, и выводятся положения теории культурно-исторических типов.

Основное положение теории культурно-исторических типов заключается в утверждении, что вопреки широко распространенному представлению об истории как об эволюционно-стадиальном движении единого человечества, в действительности она представляет собой совокупность «биографий» самобытных и независимых культурно-исторических типов (цивилизаций).

Автор «России и Европы» насчитывал десять «полноценных» культурно-исторических типов: 1) египетский; 2) китайский; 3) ассирийско-вавилонско-финикийский, халдейский или древнесемитический; 4) индийский; 5) иранский; 6) еврейский; 7) греческий; 8) римский; 9) ново-семитический или арабийский; 10) германо-романский или европейский, и два американских типа: мексиканский и перуанский, погибших «насильственной смертью» до завершения цикла развития. Также Н. Я. Данилевский размышлял о будущем русско-славянском культурно-историческом типе.

Всесторонне Н. Я. Данилевский анализировал только два культурно-исторических типа – германо-романский и русско-славянский.

III.

С легкой руки единомышленника и публикатора сочинений Н. Я. Данилевского известного философа и литературоведа почвеннического направления Н. Н. Страхова в отечественной историографии долгое время господствовало представление о том, что изложенное в книге «Россия и Европа» учение Н. Я. Данилевского о цивилизационных взаимоотношениях России и Европы, в частности, включающее и построение своего рода логики исторического бытия России, суть только частный случай общего философско-исторического учения Н. Я. Данилевского – теории культурно-исторических типов и в этом качестве как бы лишено важного самостоятельного значения. Конечно, Н. Н. Страхова мы можем понять, для него в предисловии к книге «Россия и Европа» было важно показать читателю выдающийся результат размышлений Н. Я. Данилевского – разработку им в виде теории культурно-исторических типов новой философско-исторической доктрины – теории цивилизаций. Однако тем самым в тени оставалось другое существенное творческое достижение Н. Я. Данилевского, на значимость которого можно указать по аналогии с общепринятой характеристикой значения творчества А. С. Пушкина. Как известно, к творчеству А. С. Пушкина долгое время (отчасти и поныне) относились как к не имеющему мирового резонанса, но имеющему определяющее значение для судеб национального литературного языка, русской литературы и поэзии. Аналогичным образом Н. Я. Данилевский как консервативный мыслитель разработал своего рода «алгебру» исторического бытия России, следование которой суть путь выживания России как единого многонационального и многоконфессионального государства, как «большой России». А нарушение этой логики оборачивается риском распада и гибели России как единой страны. Эту сторону творчества Н. Я. Данилевского либеральные исследователи на Западе и в России, как прошлых лет, так и современные либо игнорируют, превращая Н. Я. Данилевского исключительно в академического философа истории, либо толкуют вкривь и вкось, давая Н. Я. Данилевскому исключительно негативные односторонние оценки как тоталитарному мыслителю, панслависту, идеологу агрессивного консервативного национализма и т. д.

Глубокие и судьбоносные для исторического бытия России размышления Н. Я. Данилевского, как это было принято у него, покоились на концептуальной схеме оригинального по сравнению с географически ориентированным классическим европейским геополитическим типом, варианта геополитического дискурса, важными и актуальными проблемными аспектами которого являлись цивилизационные взаимоотношения России и Запада и в этой связи – историческая судьба России.

Идея нового типа геополитического дискурса, проступающая в размышлениях Н. Я. Данилевского в книге «Россия и Европа», чрезвычайно плодотворна и предшествует геополитике конфликта цивилизаций, сравнительно недавно разработанной С. Хантингтоном. Именно автор «России и Европы» впервые распознал и изобразил геополитически значимый, судьбоносный для России конфликт цивилизаций нашей страны и Запада. Кроме того, следует отметить, что цивилизационный геополитический дискурс Н. Я. Данилевского концепту-

ально был шире схемы С. Хантингтона. Если горизонт С. Хантингтона ограничивается идеей конфликтных взаимоотношений цивилизаций, то Данилевский, отвергая идею единой цивилизации и в этой связи общечеловеческую перспективу, указывал на новый – всесубъектный – тип общности человечества в идее всечеловечества, трансцендирующей узкие рамки перспективы безысходного конфликта цивилизаций С. Хантингтона. Именно указанный цивилизационный геополитический дискурс наряду с размышлениями философско-исторического и культурологического плана и является «главным героем» трактата Н. Я. Данилевского «Россия и Европа». Своеобразным введением и вехами в развертывании этого геополитического дискурса у Н. Я. Данилевского являются экскурсы в историю русско-европейских политических взаимоотношений, критика феномена «европейничания» и разработка проекта русско-славянского культурно-исторического типа в политическом отношении в виде Всеславянской федерации с центром в Константинополе во главе с русским царем.

Сразу подчеркну, что в последнем случае важно обратить внимание не только и даже не столько на содержательные особенности русско-славянского проекта Н. Я. Данилевского, сколько на сами идеи утверждения самобытного российского цивилизационного типа и российской цивилизационной миссии, без признания которых невозможно отстаивание самостоятельности и суверенитета России. А без отстаивания суверенитета и независимости России, а также ряда других условий, в свою очередь, невозможно и историческое бытие России в формате «большой России» как единого многонационального и многоконфессионального государства. Таким образом, у Н. Я. Данилевского в учении о культурных и политических отношениях славянского мира к германо-романскому фактически речь идет и о системе идей, определяющих условия возможности исторического бытия России в качестве «большой России». Эту систему идей образуют такие компоненты, как самобытная страна-цивилизация; независимое (суверенное) государство; политическая элита, приверженная принципам самобытной цивилизации и самостоятельного независимого государства и разделяющая с народом традиционные ценности; сознание своей исторической миссии и образа будущего.

В «России и Европе», анализируя положительные черты, присущие русскому народу, Н. Я. Данилевский подвергает критике и отрицательную черту русской жизни – «европейничание», которое оценивается как болезнь русской жизни и которая заключается в искажении народного быта иностранными формами, в заимствовании иностранных учреждений и в стремлении смотреть на политику сквозь «европейские очки».

Изменение форм быта привело к расколу русского народа на два слоя – «низший слой остался русским, высший сделался европейским – европейским до неотличимости». Этот раскол породил не только унижение народного духа, но и недоверие низшего слоя к высшему.

Нигилизм, аристократизм, демократизм и конституционализм Н. Я. Данилевский считал только частными проявлениями «европейничания», общим видом его было признание европейского общественного мнения судьей России.

«Европейничание» содержит в себе симптомы болезни, «которую можно назвать слабостью и немощью народного духа в высших образованных слоях русского общества». Значение этой болезни для русской национальной судьбы исключительно велико, ибо болезнь эта «в целом препятствует осуществлению великих судеб русского народа, и может, наконец (несмотря на все видимое государственное могущество), иссушив самобытный родник народного духа, лишить историческую жизнь русского народа внутренней зиждательной силы, а, следовательно, сделать бесполезным, излишним самое его существование».

Какими же средствами можно излечить болезнь, которая угрожает историческому существованию русской нации? Средством этим, по Н. Я. Данилевскому, является решение восточного вопроса. Восточный вопрос является продолжением древневосточного вопроса, заключавшегося в «борьбе римского типа с греческим», в современное Н. Я. Данилевскому время он

трансформировался в борьбу германо-романского и славянского типов. Под борьбой римского типа с греческим Данилевский имел в виду противостояние католицизма и православия.

Автор «России и Европы» отмечал, что восточный вопрос вступил в третий период, содержанием которого должен стать «отпор Востока – Западу», славяно-греческого мира миру германскому.

Истинное решение восточного вопроса, элементами которого являются конфликт России с Турцией и неполноправное положение славян в Австрии, возможно лишь в рамках Всеславянской федерации с центром в Константинополе (Царьграде).

Именно всеславянский союз есть «единственная твердая почва, на которой может возрасти самобытная славянская культура», – этот вывод Н. Я. Данилевский называет «главным выводом» всего исследования.

Автор «России и Европы» считает неизбежным военное столкновение с Европой при решении восточного вопроса, т. е. «из-за свободы, независимости Славян, из-за обладания Цареградом». Данилевский предполагал, что содействие России формированию славяно-русского культурно-исторического типа приведет страну к войне с Западом. Данилевский посвятил специальное исследование шансов сторон на победу и пришел к выводу, что у России есть все шансы выиграть войну с Западом, неизбежную на пути решения Россией восточного вопроса, т. е. создания Всеславянской федерации с центром в Константинополе как политической формы славяно-русского культурно-исторического типа.

Этот славяноцентристский проект Н. Я. Данилевского подверг критике его последователь знаменитый отечественный мыслитель Константин Николаевич Леонтьев. Во многом разделяя теорию культурно-исторических типов Данилевского, Леонтьев отверг надежды первого на проект славянского единства. Леонтьев много лет отдал дипломатической службе в российском посольстве в Османской империи, много ездил по славянским провинциям Османской империи и по западнославянским странам, подолгу беседовал с лидерами славянских общин в разных провинциях и странах. Вывод Леонтьева был неутешительным – действительные настроения и мечты южных и западных славян свидетельствуют о том, что они сделали свой окончательный выбор в пользу Европы, а не России. А ошибку Данилевского в отношении славян Леонтьев объяснял простым незнанием кабинетным мыслителем реального положения дел в юго-славянских провинциях Османской империи и в западно-славянских землях. В этом заочном споре К. Н. Леонтьева с Н. Я. Данилевским ход истории в основном подтвердил правоту Леонтьева.

Именно критика К. Н. Леонтьевым славяно-русского проекта Н. Я. Данилевского во многом предопределила изменение путей дальнейшей эволюции русской консервативной мысли. Последняя оставила славянофильское русло, намеченное А. С. Хомяковым и углубленное Н. Я. Данилевским, и пошла по новому пути. Этот новый путь был обозначен, с одной стороны, и – преимущественно – евразийцами, а с другой – творчеством Г. В. Флоровского. В первую очередь следует сказать о евразийцах, которым удалось, с одной стороны, концептуализировать и плодотворно разработать давнее эмпирическое обобщение русской историографии о том, что Россия не принадлежит ни к западному типу цивилизации, ни к восточному, но занимает промежуточное положение между ними и может рассматриваться как своеобразный цивилизационный регион, в котором специфически сочетаются, сплавляются в российскую цивилизационную идентичность цивилизационные черты Запада и Востока, т. е. является западно-восточным регионом, конкретнее: Евро-азией, Евразией. А далее уже евразийцы попытались представить, как выглядит евразийского типа общество, его политическая, социально-экономическая и культурная системы. Если ограничиться только общим положением, то евразийского типа российская политическая и общественная традиции и системы носят смешанный, гибридный, западно-восточный характер. Не менее важно и то, что именно евразийцы выступили наследниками разработанного Н. Я. Данилевским типа цивилизационного геополитического

тического дискурса (на базе которого сам Данилевский впервые распознал и описал феномен конфликта цивилизаций России и Европы), и потому их взгляд на мировые геополитические реалии не был столь наивным, как воззрения Г. В. Флоровского на цивилизационную геополитику.

Что касается творчества Г. В. Флоровского, который вслед за И. В. Киреевским, разрабатывал идею синтеза византийско-православной традиции с этосом современности, то речь идет о проекте неопатристического синтеза. То, что основным руслом дальнейшего развития русской консервативной мысли стали евразийски ориентированные подходы и направления мысли, а не учение Г. В. Флоровского, как представляется, объясняется полным отсутствием у Г. В. Флоровского представления о цивилизационном геополитическом противостоянии России и Запада. Дело в том, что, как выражался сам Флоровский, противодействие подмене идеалов идолами, «отвлеченными началами» уже вышло за рамки межконфессиональных отношений и даже не ограничивалось тематикой цивилизационной специфики западнохристианской или восточнохристианской, а приобрело цивилизационное геополитическое измерение, сутью которого является не столько противостояние различных географических зон – морской, континентальной и др., сколько противостояние различных цивилизационных систем ценностей. Игнорирование этого цивилизационного геополитического противостояния России и Запада в конечном счете не позволило Флоровскому адекватно решить вопрос о соотношении центра Вселенского Православия и Русской Православной Церкви, Константинопольского патриархата и Московской патриархии – по формальным историческим и умозрительным основаниям он продолжал ошибочно ратовать за первенство Константинопольского патриархата перед Московской патриархией. Впрочем, в полной мере ошибочность позиции Г. В. Флоровского обнаружилась позднее, когда Константинопольский патриархат полностью превратился в объект манипуляций со стороны американских и натовских спецслужб.

Здесь можно отметить, что предметом рассмотрения могут быть не только конфессиональные различия христианства, но и общественно-исторические и социокультурные последствия этих различий в эпохи Нового и Новейшего времени, с одной стороны, в виде тренда на секуляризацию, наиболее ярко выраженного в феноменах дехристианизации, в тенденции перманентных либеральных инноваций, все более радикализирующихся в силу односторонней логики прогресса, в которых пересматриваются традиционные константы человеческой природы и общества, а с другой – сил, противящихся указанным тенденциям, представителями которых выступают не только сторонники поиска синтеза инноваций и традиций, но и апологеты различных видов традиционализма. Игнорировать эту сложную картину современности, во многом сформировавшуюся под влиянием конфессиональных различий и имеющую геополитическое цивилизационное измерение, нельзя, ибо в противном случае мы просто утратим понимание важных измерений социально-исторической действительности последних десятилетий.

IV.

Теперь обратимся к интересному и важному вопросу о том, почему из числа выдающихся отечественных мыслителей именно Н. Я. Данилевский наименее известная персона, о творчестве которого не осведомлены подавляющее большинство даже просвещенных наших соотечественников и почему именно в наши дни наступает своего рода национальный ренессанс Н. Я. Данилевского? Проницательный читатель сразу скажет о том, что идейное наследие Н. Я. Данилевского долгое время оставалось в России невостребованным, потому что российское общественное сознание на протяжении последних полутора-двух столетий оставалось по преимуществу западническим, либо в варианте либерально-западническом, либо лево-западническом. Действительно, в исторической панораме последних полутора-двух веков

в истории нашей страны мы видим попеременные взлеты и падения только западнических, либерально-демократических или левых проектов и направлений мысли. В такой оптике творчество Н. Я. Данилевского с необходимостью было маргинализировано, забыто, а потом еще и практически запрещено в советский период. Надо сказать, что западническая доминанта в истории России указанного периода поддерживалась и мировыми историческими тенденциями, основным содержанием которых было продолжение тренда на борьбу в мире и на Западе сил либеральных и демократических с различными исторически значимыми проявлениями авторитаризма и тоталитаризма. Мировые тенденции сменили вектор только тогда, когда в XX веке, после эпохального поражения тоталитарной фашистской коалиции, ушел в историческое небытие и социалистический лагерь во главе с СССР. Тогда либерально-демократические силы поспешили провозгласить свою историческую победу и смену эпох. В последнем случае речь идет о переходе от длинной череды периодов «великой борьбы» сил демократии и либерализма с различными разновидностями деспотизма к эпохе «конца истории» вследствие предпринятой победы сил либеральной демократии в мире. Соответственно, в мировой повестке дня приоритетным стал вопрос о создании глобальной либеральной цивилизации во главе с США. С этого времени миру был явлен либерализм нового типа – либерализм торжествующий, существенно отличающийся от либерализма классического. Однако одновременно с подъемом либерализма торжествующего, властно претендующего на доминирующие позиции не только в США и в Европе (реалии проекта либерального Евросоюза), но и в мире (где в ряде регионов для либералов торжествующих еще остается много работы), оживились консервативные и традиционалистские идейно-политические силы. В результате чего мировая политическая сцена во многом стала ареной противоборства с одной стороны – либералов, а с другой – консерваторов и традиционалистов.

В своеобразной форме, решая свои внутренние задачи, в мировое противостояние либералов и консерваторов втянулась и Россия, во внутренней и внешней политике которой с середины нулевых годов наметился поворот от либерально-демократического вектора к консервативному. Поворот этот был вызван постепенным осознанием того, что проводимая руководством страны системная политика либерально-демократических реформ, фактически является политикой отказа от воспроизводства принципов исторического бытия «большой России», ставящая под удар дальнейшее выживание единой страны. Речь идет о принципах исторического бытия единой страны, «большой России» впервые системно намеченных в отечественной мысли именно в учении Н. Я. Данилевского о цивилизационных геополитических отношениях России и Запада и о судьбе России в этой связи, таких как самобытная страна-цивилизация; независимое (суверенное) государство; политическая элита, приверженная принципам самобытной цивилизации и самостоятельного независимого государства и разделяющая с народом традиционные ценности; сознание своей исторической миссии и образа будущего; сочетание в обустройстве страны опоры на традицию с политикой развития и модернизационных инноваций. Постепенное возвращение политической элиты России к политике воспроизводства и выживания страны, ориентированной не на последовательный традиционализм, а на сочетание следования традиционным ценностям и политике развития, наряду с другими вышеуказанными принципами, движение по пути воспроизводства российской цивилизационной идентичности, довольно быстро превратило страну в объект яростных атак со стороны могущественных мировых либеральных политических сил, разделяющих идеологию либерализма торжествующего, конца истории как исторической предопределенности, неизбежности полной победы проекта глобальной либеральной цивилизации. В конце концов, уже в наши дни Россия была вынуждена встать на путь отражения военными средствами все более интенсивных атак мирового либерально-демократического лагеря.

Современное глобальное противостояние либералов, с одной стороны, и консерваторов и традиционалистов – с другой, реактуализировало их традиционные споры, и, в частности, в

философско-историческом дискурсе вновь вывело на первый план дискуссию сторонников стадийного и цивилизационного подходов. В наши дни традиционную уже дискуссию представителей цивилизационного (мультицивилизационного) и стадийного (моновцивилизационного) подходов в осмыслении истории цивилизаций стимулирует противостояние сторонников однополярного и многополярного миропорядков, и роль России в нем важна. В зависимости от того, рассматривают ли исследователи современное глобальное общество как состоящее из нескольких типов цивилизаций, устойчиво воспроизводящихся в истории, или полагают, что определяющей тенденцией современности является становление единого цивилизационного типа, они делятся не только на сторонников подходов цивилизационного (мультицивилизационного) либо стадийного (моновцивилизационного), но и выступают за приоритет миропорядка многополярного, полнее соответствующего современности, истолковываемой в качестве мультицивилизационной, либо однополярного, в точности соответствующего доминирующей моновцивилизационной тенденции.

Если рассматривать современность как стадию исторической эволюции, характеризующуюся переходом человечества к новой всемирно-исторической ступени – к человечеству одного цивилизационного типа, то взгляд этот является теоретическим обоснованием позиции сторонников однополярного миропорядка. Если же историю и современность истолковывать на основе цивилизационного подхода, в рамках которого глобальная цивилизация предстает исключительно «суммой» историй отдельных цивилизаций, то подход этот служит теоретическим обоснованием позиции сторонников многополярного миропорядка. Можно ли уже решительно предпочесть универсальную политическую, экономическую, культурную интеграцию государств политике сохранения, взаимодействия и диалога национальных государств? Понятно, что вопрос этот имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Сторонники однополярной концепции миропорядка основываются на признании определяющей тенденции становления единого цивилизационного типа, а их оппоненты настаивают на большей реалистичности многополярной трактовки миропорядка, полагая, что современности, а также человечеству в обозримой исторической перспективе будет присуща тенденция к воспроизводству влиятельных суверенных государств, исходящих из своих национальных интересов и опирающихся на собственные цивилизационные традиции, способных стать центрами притяжения для региональных сообществ в рамках общей конфигурации многополярного мира как сочетания влиятельных региональных сообществ.

Другими словами, спор идет о различных образах будущего – следует ли уже в обозримой исторической перспективе исходить из идеала единого человечества, объединенного под одной властью, или же реалистичнее говорить о международном взаимодействии и сотрудничестве человечества, все еще разделенного на различные цивилизации и выступающего в виде сообщества суверенных национальных государств не в силу полагания в международном праве определяющим принципа суверенитета, но вследствие признания приоритетным для выживания этих стран в истории преобладания в них самобытных, особенных цивилизационных типов, а идея человечества, объединенного под единой властью, – это лишь один из возможных сценариев отдаленного исторического будущего.

Соответственно, особо актуальна дискуссия об определяющей роли универсальных или особенных сущностных основах цивилизаций в прошлом и в настоящем. Ключевая теоретическая проблема здесь, что при описании социально-исторической реальности считать определяющим признаком – цивилизационные начала универсальные или локальные? Это не только современный спор. В контексте противостояния идеологий просвещения и романтизма, взгляды на человечество как на феномен преимущественно единый или многообразно-самобытный еще в XIX в. начали оформляться в виде противостояния двух подходов к пониманию всемирной истории: эволюционно-стадийного, восходящего к теории прогресса, и цивилизационного – теории локальных цивилизаций.

Рассматривая в указанном идейном и геополитическом контекстах воззрения Н. Я. Данилевского, важно также не упускать из виду, что он не только построил свою концепцию цивилизованного отрезка всемирной истории на базе понятия культурно-исторических типов – самобытных цивилизаций, но и предложил концепт «всечеловеческого» как суммы самобытных цивилизаций, как понятие, фактически замещающее понятие общечеловеческого. Хотя Данилевский сформулировал понятие «всечеловеческого» как своего рода «истинную версию» понятия «общечеловеческого», и рассматривал первое как наиболее общее в философско-историческом дискурсе, это понятие может интерпретироваться в значении всесубъектного в том смысле, что ни одна составная часть человечества не может быть исключена из всечеловеческого целого. В этой связи следует подчеркнуть, что на основе понятия всечеловеческого-всесубъектного можно говорить и о перспективах нового – подлинного – диалога субъектов – составных частей всечеловеческого, в отличие от монологического псевдиалога общечеловеческой перспективы, призванного лишь замаскировать глобальные властные амбиции западной цивилизации. Вполне возможно, что с учетом понятий всечеловеческого и нового – подлинного – межсубъектного диалога могут быть очерчены и контуры нового идеала взаимодействия народов, нового миропорядка для человечества, все еще разнородного в культурном, цивилизационном и политическом отношениях, но потенциально объединенного во всечеловеческой перспективе не только чисто логически, но и посредством идеи нового межсубъектного диалога. Будет ли разработан такой идеал, и, если да, то в какой мере он реализуем – покажет будущее. Соответственно, несмотря на то, что сам Данилевский сделал главный акцент на проекте русско-славянского культурно-исторического типа, в его учении заложены возможности и для иных, более широких, интерпретаций.

Итак, поскольку и в мировой политической повестке дня, и в российской на первом плане оказалось противоборство либералов и консерваторов, реактуализирующее соответствующие идейно-философские контексты, перспективы и дискуссии, актуальным становится и своего рода национальный ренессанс идейного наследия Н. Я. Данилевского.

Поэтому те наши современники, которые стремятся глубоко разобраться в действующих исторических тенденциях и в событиях, происходящих сегодня в мире и в нашей стране, не могут пройти мимо главного произведения нашего выдающегося соотечественника Н. Я. Данилевского – книги «Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к романо-германскому».

С. И. Бажов,

*старший научный сотрудник сектора истории русской философии
Института философии РАН, кандидат философских наук*

Глава I

1864 и 1854 годы. Вместо введения

Летом 1866 года совершилось событие огромной исторической важности. Германия, раздробленная в течение столетий, начала спланиваться, под руководством гениального прусского министра, в одно сильное целое. Европейское *status quo*, очевидно, нарушено, и нарушение это, конечно, не остановится на том, чему мы были недавними свидетелями. Хитро устроенная политическая машина, ход которой был так тщательно уравновешен, оказалась расстроившеюся. Всем известно, что события 1866 года были только естественным последствием происшествий 1864 года. Тогда, собственно, произошло расстройство политико-дипломатической машины, хотя оно и не обратило на себя в должной мере внимания приставленных для надзора за нею механиков. Как ни важны, однако же, оказались последствия австро-пруско-датской войны 1864 года, я совсем не на эту сторону ее желаю обратить внимание читателей.

В оба года, которыми я озаглавил эту главу, на расстоянии десяти лет друг от друга произошло два события, заключающие в себе чрезвычайно много поучительного для каждого русского, хотящего и умеющего вглядываться в смысл и значение совершающегося вокруг него. Представленные в самом сжатом виде, события эти состояли в следующем. В 1864 году Пруссия и Австрия, два первоклассных государства, имевшие в совокупности около 60 000 000 жителей и могущие располагать чуть ли не миллионною армиею, нападают на Данию, одно из самых маленьких государств Европы, населенное двумя с половиною миллионами жителей, не более, – государство невоинственное, просвещенное, либеральное и гуманное в высшей степени. Они отнимают у этого государства две области с двумя пятими общего числа его подданных, – две области, неразрывная связь которых с этим государством была утверждена не далее тринадцати лет тому назад Лондонским трактатом, подписанным в числе прочих держав и обеими нападающими державами. И это прямое нарушение договора, эта обида слабого сильным не возбуждают ничьего противодействия. Ни оскорбление нравственного чувства, ни нарушение так называемого политического равновесия не возбуждают негодования Европы, ни ее общественного мнения, ни ее правительств, – по крайней мере, не возбуждают настолько, чтобы от слов заставить перейти к делу, – и раздел Дании спокойно совершается. Вот что было в 1864 году.

Одиннадцать лет перед этим Россия, государство, также причисляемое к политической системе европейских государств, правда, очень большое и могущественное, оскорбляется в самых священных своих интересах (в интересах религиозных) Турцией – государством варварским, завоевательным, которое хотя уже и расслаблено, но все еще одним только насилием поддерживает свое незаконное и несправедливое господство, государством, тогда еще не включенным в политическую систему Европы, целость которого поэтому не была обеспечена никаким положительным трактатом. На эту целость никто, впрочем, и не посягает. От Турции требуется только, чтобы она ясно и положительно подтвердила обязательство не нарушать религиозных интересов большинства своих же собственных подданных, – обязательство не новое какое-либо, а уже восемьдесят лет тому назад торжественно данное в Кучук-Кайнарджийском мирном договоре. И что же! Это справедливое требование, каковым признало его дипломатическое собрание первостепенных государств Европы, религиозные и другие интересы миллионов христиан ставятся ни во что; варварское же государство превращается в глазах Европы в палладиум цивилизации и свободы. В 1854 году, как раз за десять лет до раздела Дании, до которого никому не было дела, Англия и Франция объявляют войну России, в войну вовлекается Сардиния, Австрия принимает угрожающее положение, и, наконец, вся Европа грозит войною, если Россия не примет предложенных ей невыгодных условий мира. Так действуют правитель-

ства Европы; общественное же ее мнение еще более враждебно и стремится увлечь за собою даже те правительства, которые, как прусское и некоторые другие германские, по разного рода побуждениям не желали бы разрыва с Россией. Откуда же это равнодушие к гуманной, либеральной Дании и эта симпатия к варварской, деспотической Турции, эта снисходительность даже к несправедливым притязаниям Австрии с Пруссией и это совершенное неуважение к самым законным требованиям России? Дело стоит того, чтобы в него вникнуть. Это не какая-нибудь случайность, не журнальная выходка, не задор какой-нибудь партии, а коллективное дипломатическое действие всей Европы, то есть такое обнаружение общего настроения, которое менее всякого другого подвержено влиянию страсти, необдуманного мгновенного увлечения. Поэтому и выбрал я его за исходную точку предлагаемого исследования взаимных отношений Европы и России.

Прежде всего посмотрим, нет ли в отношениях Дании к Пруссии и Австрии какого-нибудь дерзкого вызова, словом, чего-нибудь извиняющего в глазах Европы это угнетение слабого сильным и, напротив того, в действиях России чего-либо оскорбившего Европу, вызвавшего ее справедливые гнев и негодование?

Мы не будем вникать в подробности шлезвиг-голштейнского спора между Германией и Данией, тянувшегося, как известно, целые семнадцать лет и, я думаю, мало интересного для русских читателей. Сущность дела в том, что Дания установила общую конституцию для всех своих составных частей – одну из самых либеральных конституций в Европе, при которой, конечно, и речи не могло быть о каком-либо угнетении одной национальности другою. Но не того хотелось Германии: она требовала для Голштейна конституции хотя бы и гораздо худшей, но зато такой, которая совершенно разрознила бы эту страну с прочими частями монархии, требовала даже не личного соединения, наподобие Швеции с Норвегией (это бы еще ничего), а какого-то примененного к целой государственной области права, вроде польского *не позволям*, пользуясь которым, чины Голштейна могли бы уничтожать действительность всякого постановления, принятого для целой Дании. Но Голштейн принадлежал к Германскому союзу, следовательно, этим путем достигалось бы косвенным образом господство союза над всею Датскою монархией. Это господство он считал для себя необходимым по тому соображению, что кроме Голштейна, в дела которого Германский союз имел право некоторого вмешательства, в состав Датского государства входил еще и Шлезвиг, страна по трактатам совершенно чуждая Германии, но населенная в значительной части немцами, которые ее мало-помалу колонизировали и из скандинавской обратили в чисто немецкую. В глазах всех немцев, сколько-нибудь интересовавшихся политикой, Шлезвиг составлял нераздельное целое с Голштейном; но такой взгляд не имел ни малейшей поддержки в основанном на положительных трактатах международном праве. Чтобы провести его на деле, необходимо было употребить Голштейн как рычаг для непрерывного давления на всю Данию. При этом средстве датское правительство могло бы провести в Шлезвиге те лишь только меры, которые были бы угодны Германии. Дания, очевидно, не могла на это согласиться, и патриотическая партия (так называемых эйдерских датчан) готова была совершенно отказаться от Голштейна, лишь бы только единство, целостность и независимость остальной части монархии не нарушались непрерывно чужеземным вмешательством. О тяжести такого вмешательства мы можем себе составить легкое понятие по собственному опыту. Вмешательство, основанное на придирчивых толкованиях некоторых статей Венского трактата, привело в негодование всю Россию. Хорошо, что негодование России, будучи так полновесно, перетягивает на весах политики много дипломатических и иного рода соображений; но кто же обращает внимание на негодование Дании? К тому же у Дании руки были в самом деле связаны трактатом, не дававшим ей полной свободы распоряжаться формой правления, которую ей хотелось бы дать Голштейну. Об истинном смысле этого трактата шли между Данией и Германским союзом бесконечные словопрения. Каждая сторона толкует, конечно, дело в свою пользу; наконец, и Германский союз, не отличавшийся-таки быстротою

действия, теряет терпение и назначает экзекуцию в Голштейн. Голштейн принадлежит к Германскому союзу, и против такой меры нельзя еще пока ничего возразить. Но известное дело, что Германский союз, хотя узами его и было связано до пятидесяти миллионов народа, не внушал никому слишком большого уважения и страха – ни даже крохотной Дании, которая, несмотря на союзную экзекуцию, преспокойно продолжает свое дело. Пруссия (или, точнее, г. Бисмарк), однако же, видит, что для нее, во всяком случае, это дело ничем хорошим кончиться не может. Возьмет верх Дания – пропали все планы на Кильскую бухту, флот, господство в Балтийском море, на гегемонию в Германии, одним словом, пропали все немецкие интересы, которых Пруссия себя считала и считает, и притом совершенно справедливо, главным, чуть ли не единственным представителем. Восторжествует Германский союз – Голштейн один, или вместе с Шлезвигом, обратится в самостоятельное государство, которое усилит собою в союзе партию средних и мелких государств, что, как весьма справедливо думает г. Бисмарк, только повредит прусской гегемонии. Надо и союзу не дать усилиться, надо и Голштейн с Шлезвигом прибрать к своим рукам, чтобы общегерманское, а с ним вместе и частнопрусское дело должным образом процвели. Следуя этим совершенно верным (с прусской точки зрения) соображениям, обеспечившись союзом с Австрией, которой во всем этом деле приходится своими руками для Пруссии жар загребать, г. Бисмарк вступает за недостаточно уважаемый и оскорбленный Данией Германский союз и требует уничтожения утвержденной палатами, общей для всей монархии конституции – хотя и в высшей степени либеральной, но вовсе не соответствующей ни общим видам Германии, ни частным видам Пруссии, – угрожая в противном случае войною. Дания с формальной стороны не была совершенно права, ибо – не будучи в состоянии исполнить невозможного для нее трактата, или, по крайней мере, исполнить его в том смысле, в каком понимала его Германия, – она решилась рассечь гордиев узел этою общей для всей монархии конституцией, которая, удовлетворяя, в сущности, всем законным требованиям как Голштейна, так и Шлезвига, устраняла, однако, совершенно вмешательство союза в дела этого последнего и делала его излишним для первого. Не будучи, таким образом, правою с формальной стороны, Дания, угрожаемая войною с двумя первоклассными государствами, легко могла уступить столь положительно выраженному требованию. Такую уступчивость необходимо было во что бы то ни стало предупредить. Средство к тому было найдено очень легкое. Для исполнения своего требования Пруссия и Австрия назначили столь короткий срок, что в течение его датское правительство не имело времени созвать палаты и предложить на их обсуждение требование этих держав. Таким образом, датское правительство было поставлено в необходимость или отвергнуть требования иностранных держав и навлечь на себя неравную войну, или нарушить конституцию своего государства; нарушить же конституцию при тогдашнем положении дел – при только что вступившем на престол и не успевшем еще на нем утвердиться государе, непопулярном по причине его немецкого происхождения, – значило бы, по всей вероятности, вызвать революцию. Датскому правительству ничего не оставалось, как избирать из двух зол меньшее. Оно и выбрало войну, имея, по-видимому, достаточные основания считать ее за зло меньшее. Во-первых, Дания уже вела подобную войну и с Пруссией, и с Германией не далее как 15 лет тому назад и вышла из нее скорее победительницей, чем побежденной; она могла, следовательно, рассчитывать на подобный же исход и в этот раз. Соображение весьма хорошее – только при нем не было принято в расчет, что в тогдашней Германии существовал бестолковый франкфуртский парламент, а в тогдашней Пруссии не было Бисмарка. Кроме того, датское правительство могло надеяться, что политическая система государств, основанная на положительных трактатах, не пустое только слово, что после того, как Европа около ста лет не переставала кричать о великом преступлении раздела Польши, она не допустит раздела Дании, что примет же она во внимание приставленный к ее горлу нож и, по крайней мере, потребует от нападающих на нее государств, чтобы они дали ей время опомниться. Во всем этом она ошиблась. Война началась. Не приготовленные к ней датчане, конечно, понесли поражение.

Чтобы положить конец этой невозможной борьбе, собралась в Лондоне конференция европейских государств. Нейтральные державы предложили сделку, при которой приняли во внимание победы, одержанные Пруссией и Австрией, но эта сделка не удовлетворила союзников; они продолжали настаивать на своем, и Европа, ограничив этим свое заступничество, предоставила им разделяться с Данией, как сами знают. Итак, если и можно считать Данию не совершенно правою с формальной стороны, то эта неправда была с избытком заглажена поступком Пруссии и Австрии, не только не давших Дании возможности отступить от принятой ею слишком решительной меры, но воспользовавшихся этим только как предлогом для исполнения задуманной цели: отторжения от нее не только Голштейна, но и нераздельного с ним, по их понятиям, Шлезвига. Дипломатические обычаи – почитающиеся охраною международного права, так же как юридические формы почитаются охраною права гражданского и уголовного, – были нарушены, и нарушителем их была не Дания, а Пруссия с Австрией. Следовательно, эти два государства, а не Дания, оскорбили Европу.

Но иногда незаконность, то есть формальная, внешняя несправедливость, прикрывает собою такую внутреннюю правду, что всякое беспристрастное чувство и мнение принимают сторону мнимой несправедливости. Было ли, например, когда-либо совершено более дерзкое, более прямое нарушение формального народного права, чем при образовании Кавуром и Гарибальди Итальянского королевства? Поступки правительства Виктора Эммануила с Папскою областью и Неаполитанским королевством никаким образом не могут быть оправданы с легальной точки зрения; и, однако же, всякий, не потерявший живого человеческого чувства и смысла, согласится, что в этом случае форма должна была уступить сущности, внешняя легальность – внутренней правде. Не таково ли и шлезвиг-голштейнское дело, не подходило ли и оно под категорию дел формально несправедливых, но оправдываемых скрытою под этой оболочкою внутреннею правдою, и не эта ли внутренняя правда обезоружила Европу? И на это придется отвечать отрицательно. Во-первых, национальное дело, имеющее своим защитником Австрию, может возбуждать только горький смех и негодование. Во-вторых, принцип национальностей пока еще не признается, по крайней мере, официально, Европою и, без разного рода побочных соображений, сам по себе ничего не оправдывает в глазах ее. Даже справедливое дело Италии восторжествовало лишь в силу взаимных отношений между главнейшими государствами, так расположившимися, что на этот раз дело легальности не нашло себе защитников. В самом общественном мнении начало национальностей распространено лишь во Франции и в Италии, и то потому только, что эти страны считают его для себя выгодным. В-третьих, наконец, и это главное: принцип национальностей неприменим вполне к шлезвиг-голштейнскому делу. Немецкий народ в 1864 году не составлял одного целого; он не имел политической национальности, и, пока она не образовалась, во имя чего он мог требовать отделения Голштейна и Шлезвига от Дании, не требуя в то же время уничтожения Баварии, Саксонии, Липпе-Детмольда, Саксен-Альтенбурга и т. п. как самостоятельных политических единиц? Правда, между разными немецкими государствами существовала слабая политическая связь, именовавшаяся Германским союзом; но точно таким же членом союза, как Бавария и Пруссия, Липпе и Альтенбург, был и Голштейн. Шлезвиг, конечно, не принадлежал к союзу; но если и не обращать внимания на то, что эта датская область была только колонизирована немцами, и придерживаться исключительно принципа этнографического, совершенно отвергая историческое право, то и с этой точки зрения крайним пределом немецких требований все-таки могло быть только присоединение Шлезвига к Германскому союзу, а не совершенное отделение и Голштейна, и Шлезвига от Дании. <...> Если, следовательно, немецкий народ не составлял политической национальности, если значительная доля его была соединена под одним управлением с другими национальностями, то он мог справедливо требовать от Дании только того, чтобы немецкая национальность не угнеталась в Голштейне и Шлезвиге, а пользовалась равноправностью с датскою; но этого и требовать было нечего, это исполнялось и без всяких требований.

Представим себе, что первоначальный план Наполеона III относительно Италии осуществился бы. Она составляла бы – наподобие германского – итальянский союз, в состав которого входило бы и Венецианское королевство, оставаясь, однако же, в соединении с Австрией. На каких основаниях мог бы тогда король сардинский в союзе с королем неаполитанским требовать от Австрии отделения Венеции, если бы итальянская национальность в ней ничем не угнеталась и вообще права венецианцев не нарушались бы? Такое положение дел итальянцы могли бы считать – и совершенно основательно – весьма неудовлетворительным. Но главную причину неудовлетворительности была бы не принадлежность Венеции Австрии, а раздельность итальянских государств при единой итальянской народности; и только сплетясь сама в одно политическое целое, имела бы эта народность если не формальное, на трактатах основанное, то прирожденное естественное право требовать своего дополнения от Австрии. Подобного права нельзя отрицать и у Германии, но прежде надлежало бы ей соединиться в одно политическое немецкое целое, отделив от себя все не немецкое, требующее самостоятельной национальной жизни, а тогда уже требовать своего и от других. Наконец, с национальной точки зрения, восстановления нарушенного германского национального права мог, во всяком случае, требовать только Германский союз, как это и было вначале, а он был, очевидно, оттеснен далее чем на задний план после того, как все здесь приняли в свои руки Пруссия и Австрия.

Впрочем, так ли это или не так, дело, собственно, идет тут вовсе не о том, чтобы неопровержимо доказать существенную несправедливость поступка Пруссии и Австрии с Данией; мы хотим лишь показать, что в глазах Европы внутренняя правда шлезвиг-голштейнского дела не могла оправдать его нелегальности. Для нас важно не то, каково это дело само в себе, но то, каким оно представлялось глазам Европы; а едва ли кто решится утверждать, что оно пользовалось симпатией европейских правительств и европейского (за исключением германского, конечно) общественного мнения. Во мнении Европы, к нарушениям формы международных отношений присоединялась здесь и неосновательность самой сущности прусско-австрийско-немецких притязаний. Почему же, спрашивается, не вооружили эти притязания против себя Европы? Очевидно, что не виновность Дании и не внешняя или внутренняя правота Пруссии и Австрии были тому причиной. Надо поискать иного объяснения.

Но прежде обратимся за десять или одиннадцать лет назад к более для нас интересному восточному вопросу.

По требованию Наполеона III, выгоды которого заставляли льстить католическому духовенству, турецкое правительство нарушило давнишние исконные права православной церкви в Святых Местах. Это нарушение выразилось главнейше в том, что ключ от главных дверей Вифлеемского храма должен был перейти к католикам. Ключ сам по себе, конечно, вещь ничтожная, но большею частью вещи ценятся не по их действительному достоинству, а по той идее, которую с ними соединяют. Какую действительную цену имеет кусок шелковой материи, навязанный на деревянный шест? Но этот кусок шелковой материи на деревянном шесте называется знаменем, и десятки, сотни людей жертвуют жизнью, чтобы сохранить знамя или вырвать его из рук неприятеля. Это потому, что знамя есть символ, с которым неразрывно соединена, во мнении солдат, военная честь полка.

Подобное же значение имел и Вифлеемский ключ. В глазах всех христиан Востока с этим ключом было соединено понятие о первенстве той церкви, которая им обладает. Очевидно, что для магометанского правительства Турции, совершенно беспристрастного в вопросе о преимуществе того или другого христианского вероисповедания, удовлетворение желаний большинства его подданных, принадлежащих к православной церкви, должно было быть единственной путеводною нитью в решении подобных спорных вопросов. Невозможно представить себе, чтобы какое-либо правительство, личные выгоды, мнения или предрассудки которого несколько не затронуты в каком-либо деле, решило его в интересах не большинства, а незначительного меньшинства своих подданных, и притом вопреки исконному обычаю, и тем, без

всякой нужды, возбудило неудовольствие в миллионах людей. Для такого образа действий необходимо предположить какую-либо особую побудительную причину. Страх перед насильственными требованиями Франции тут ничего не объясняет, потому что Турции не могло не быть известно, что от нападения Франции она всегда нашла бы поддержку и защиту в России, а вероятно, также в Англии и в других государствах Европы, как это было в 1840 году. Очевидно, что эта уступка требованиям Франции была для Турции желанным предлогом нанести оскорбление России. Религиозные интересы миллионов ее подданных нарушались потому, что эти миллионы имели несчастье принадлежать к той же церкви, к которой принадлежит и русский народ.

Могла ли Россия не вступить за них, могло ли русское правительство – не нарушив всех своих обязанностей, не оскорбив религиозного чувства своего народа, не отказавшись постыдным образом от покровительства, которое оно оказывало восточным христианам в течение столетий, – дозволить возникнуть и утвердиться мысли, что единство веры с русским народом есть печать отвержения для христиан Востока, причина гонений и притеснений, от которых Россия бессильна их избавить; что действительное покровительство можно найти только у западных государств, и преимущественно у Франции? Кроме этого, для всякого беспристрастного человека ясно, что самое требование Франции было не что иное, как вызов, сделанный России, не принять которого не позволяли честь и достоинство. Этот спор о ключе, который многие даже у нас представляют себе чем-то ничтожным, недостойным людей, имеющих счастье жить в просвещенный девятнадцатый век, имел для России, даже с исключительно политической точки зрения, гораздо более важности, чем какой-нибудь вопрос о границах, спор о более или менее обширной области; со стороны Франции был он, конечно, не более как оружием для возбуждения вражды и нарушения мира. Так понимало в то время это дело само английское правительство.

На справедливое требование России турецкое правительство отвечало обещанием издать фирман, подтверждающий все права, коими искони пользовалась православная церковь, – фирман, который долженствовал быть публично прочитан в Иерусалиме. Это обещание не было исполнено; обещанный фирман не был прочитан, хотя этого чтения ожидало все тамошнее православное население. Россия была недостойным образом обманута, правительство ее выставлено в смешном и жалком виде бессилия, между тем как все требования Франции были торжественно выполнены. Что оставалось делать после этого? Могла ли Россия довольствоваться обещаниями Турции, могла ли давать им малейшую веру? Не говоря уже о нанесенном ей оскорблении, не должна ли была она думать, что Турция после столь счастливого начала, так благополучно сошедшего ей с рук, могла, когда ей только вздумается, отнимать одно за другим права православной церкви, чтобы показать несчастным последователям ее тщету всякой надежды на Россию? Могла ли Россия не видеть, какое поприще открывалось для интриг латинства, которое умело ценить полученные им выгоды и, конечно, на них бы не остановилось. Чтобы предупредить это, оставалось одно средство: вытребовать у Турции положительное обязательство, выраженное в форме какого-либо дипломатического договора, что все права, которыми пользовалась доселе православная церковь, будут навсегда сохранены за нею. Можно ли было требовать меньшего, когда эти права только что были нарушены, а обещание восстановить их фирманом не исполнено? Не самая ли натуральная вещь требовать формального обязательства или контракта от того, кто показал, что его слову, его простому обещанию нельзя давать веры? Требование Россией этого формального обязательства называли требованием покровительства над православною церковью в Турецкой империи и нарушением верховных прав этой последней. Конечно, это было требование покровительства; но что же было в этом нового и странного, чтобы возбудить такое всеобщее против России негодование? Уже около 80 лет, именно с 1774 года, Россия имела формальное, выраженное в трактате право на такое покровительство; требовалось только более ясное и точное определение

его. Фактическое же право покровительства, проистекающее не из трактатов, а из сущности вещей, Россия имела всегда и всегда им пользовалась с тех пор, как сделалась достаточно для того сильною. Такое фактическое право имели спокон веку все государства, когда чувствовали, что какое-либо дорогое для них дело терпело притеснение в иностранном государстве. Так протестантские государства нередко покровительствовали протестантскому вероисповеданию в католических государствах. Так Россия и Пруссия оказывали покровительство диссидентам, православным и протестантам, угнетаемым в бывшем королевстве Польском. Так, уже после Восточной войны, Франция оказала даже вооруженное покровительство сирийским христианам. И не в одном религиозном отношении оказывалось такое покровительство. Не сочли ли себя Англия и Франция вправе покровительствовать всем вообще неаполитанским подданным, по их мнению (впрочем, совершенно справедливому), жестоко и деспотически управляемым, и требовать от неаполитанского короля улучшения в способе и форме его управления? Не покровительствовала ли Франция бельгийцам, восставшим против Голландии? Если, таким образом, покровительство дорогим для одного государства интересам, угнетаемым в другом, всегда фактически существовало и, несмотря ни на какую теорию невмешательства, всегда будет существовать (как основанное на самой сущности вещей), то что же ужасного и оскорбительного в том, ежели это естественное право покровительства получает формальное выражение в трактате? Римский двор заключает конкордаты с католическими и даже с не католическими государствами, которыми выговаривает дипломатическим путем известные права для католической церкви в этих державах, и такие конкордаты не считаются, однако же, нарушениями верховенства этих государств. Вестфальским миром заключившие его государства обязались друг перед другом не стеснять прав своих подданных, не принадлежащих к господствующей в них религии. Иногда это постановление не исполнялось католическими державами; протестанты вмешивались в это дело и вынуждали исполнение трактата. Так, Фридрих-Вильгельм, отец Фридриха Великого, два раза оказал весьма действительное покровительство угнетенным протестантам в Зальцбурге. Правда, что в Вестфальском договоре обязательство было взаимное; но в отношениях России к Турции в этой взаимности не было никакой надобности, ибо магометанские подданные России никогда никаких притеснений не терпели. Конечно, на трактатах основанное право чужеземного покровительства над частью подданных другого государства не может быть для него приятно; но что же делать, если оно служит только выражением действительно существующей потребности? Единственное средство избежать этой неприятности – уничтожить самый факт, обуславливающий необходимость иностранного покровительства; пока же самый факт будет существовать, то неосвящение покровительства формальностью договора нисколько сущности дела не изменяет. Можно даже сказать, что через такое формальное признание права покровительства и вмешательства, в ясно определенных случаях, уменьшаются шансы к фактическому применению этого права. В самом деле, разве Россия в 1853 году и без дипломатической ноты, и вообще без всякого определительного дипломатического договора, которого она стала себе требовать в этом году – что будто бы так напугало Европу, – не вмешалась в дела Турции, не приняла на себя покровительства православной церкви? А наоборот, если бы такой положительный, ясный и определительный договор существовал до того времени, то не воспрепятствовал ли бы он Турции в ее враждебном к большинству ее же подданных поступке и тем не отклонил ли бы фактического вмешательства России? Но какие бы кто ни имел понятия о допуске или недопуске договоров, дающих одному государству формальное право на покровительство части подданных другого государства – право, которое и без договора фактически всегда существует, – одно останется несомненным, что договор, выраженный в точных и определенных выражениях, всегда предпочтительнее договора, дающего место неопределенным толкованиям, договора, вводящего одну сторону в соблазн уменьшать принятые ею на себя обязательства, а другую – преувеличивать свои права. В настоящем случае дело и шло именно только о такой замене одного

договора другим, чтобы предупредить на будущее время подобные столкновения и необходимость фактического вмешательства. Если подобные договоры нарушают верховенство государства, то нарушение это было уже сделано 80 лет тому назад; теперь ему придавалась только безвредная форма. Все, о чем можно было толковать, состояло, следовательно, только в том, чтобы принятая форма была вместе с этим и самая безобидная, наиболее удовлетворяющая щепетильной заботливости европейских государств о достоинстве Турции, а в этом отношении уступчивости России не было пределов. Она не действовала нахрапом, как германские союзники против Дании, и, когда великие европейские державы предложили свое посредничество, она приняла его, предоставив их благоусмотрению определение выражений, в которых Турция должна была удовлетворить ее требованиям. Сама зачинщица дела – Франция – составила проект ноты; дипломатические представители великих европейских держав одобрили и приняли его. Так составила знаменитая Венская нота. Россия, признав посредничество держав, безусловно приняла решение посредников. Казалось бы, дело кончено. Если и могли прежде, основательно или неосновательно, предполагать со стороны России честолюбивые намерения, она, видимо, отказывалась от них, принимая решение коллективной дипломатической мудрости Европы. Ясное дело, что намерение ее ограничивалось получением, во-первых, удовлетворения за нарушение прав ее единоверцев, естественной покровительницей которых, по самой сущности вещей, она всегда была, есть и будет, по трактатам или без них; во-вторых, обязательства, выраженного, хотя бы в самой деликатной для турецкого самолюбия форме, в том, что впредь таких нарушений не будет. И что же, Турция отвергает эту составленную четырьмя великими державами и принятую Россией ноту, делая в ней такие изменения, которые лишают ее всякого значения и обязательного смысла. Самый факт изменения ноты был уже знаком неуважения, и не к одной России, но и к прочим четырем державам, если только они сами серьезно смотрели на свое дело, а не видели в нем ловушки, в которую надеялись поймать Россию, думая, что она не примет предложенного ими текста и что тогда можно будет обвинять ее сколько угодно в задних мыслях и тайных честолюбивых замыслах и, умывая руки, взвалить на нее всю ответственность за последствия. Турция, неизвестно откуда, набирается духу объявить России войну и находит себе между подписавшими Венскую ноту двух явных и одного тайного союзника; только четвертый остается нейтральным зрителем.

Политические страсти удивительно как огуманивают ум: самое прямое и бесспорное дело становится сомнительным и извращается в глазах пристрастного судьи. Попытаемся же перевести этот неслыханный образ действий из сферы политической в сферу частных отношений. Некто, считающий себя оскорбленным, требует удовлетворения от оскорбителя; во внимание к общим друзьям делает он уступку за уступкой в форме требуемой им сатисфакции, наконец соглашается предоставить все решению самих этих друзей – третейскому суду чести, как это, например, водится между военными и студентами; соглашается, несмотря на уверенность в том, что друзья эти большею частью ложные друзья, что один из них был даже подстрекателем в нанесенном ему оскорблении. Так убежден он в правоте своего дела. Друзья постановляют решение – заметьте: решение, предложенное самим подстрекателем, – и оскорбленный безусловно ему покоряется, считает его вполне для себя достаточным. Прибавим к этому, что оскорбленный, как не раз доказал, отлично владеет оружием, оскорбитель же плоховат в этом деле; тем не менее этот последний воодушевляется неожиданною храбростью, отвергает решение принятых им прежде посредников и вызывает своего противника на дуэль.

Друзья, конечно, приходят в негодование, объявляют себя сторонниками вызванного и настаивают на том, чтобы ему было сделано удовлетворение, признанное ими всеми за справедливое, – принуждают к этому так не к месту расхраб्रившегося господина или, по крайней мере, оставляют поединщиков расправляться друг с другом, как сами знают? Ничуть не бывало; оказывается, что у друзей какие-то странные понятия о чести и справедливости. Расхраб्रившийся, извольте ли видеть, куда какой плохой воитель, не справиться ему никак с

вызванным им противником – это ясно, как дважды два четыре. Ну а долг рыцарской чести стоять за слабых и защищать от нападения сильных, да и неожиданный задор взялся ведь у него неоткуда, как от их же рыцарских нашептываний; честь, следовательно, велит стоять за него грудью. Так решают двое из друзей. Но ведь нужен же для этого какой-нибудь резон; а если не резон, то, по крайней мере, хоть предлог, и предлог, по обыкновению, находится, конечно, столь же странный, как и вся эта история. Оскорбленный и вызванный, из уважения ли к друзьям, по добродушию что ли, или уж так, Бог его знает почему, предлагает противнику такие условия боя: «Ты, брат, я знаю, плохо драться умеешь, так вот тебе что: если нападешь на меня, буду защищаться; повезет тебе – хорошо, твое счастье; а чуть неустойка, уходи за эту черту, и я уже за ней тронуть тебя не смею; беру в этом всех друзей в свидетели и поруки». Умно ли это или нет, уж не знаю; но зато великодушно в высшей степени, из рук вон как великодушно. Однако двум друзьям, подстрекателю и другому, и этого показалось мало: «Черта чертой – это хорошо, только ты еще руку и ногу дай себе связать, и стой на одной ноге, и одной только рукой дерись, а мы любоваться будем, как ты фокусы эти будешь выкидывать. Если же нет, то втроем на тебя нападём». Руки и ноги не дал себе связать великодушный воитель – ну и предлог, слава тебе Господи, нашелся; а то куда в каких затруднениях были оба друга: драться – смерть как хочется, а драться не за что. Уговаривали они и третьего заодно с ними драться, да этому напрямик в драку лезть чересчур уж непристойно было: не дальше как пять лет тому назад обижаемый его из воды, что ли, или из огня вытащил, когда тот уже совсем было захлебывался или дымом задыхался, – одним словом, жизнь спас. Он и поднимается на хитрость. «Место, – говорит, – где вы драться думаете, у меня под боком; вашей дракой вы мешать мне будете; я пока займу его, а вы деритесь где знаете. Правда, место для тебя будет очень неудобно: и ветер, и солнце прямо в глаза тебе; из него нападать нельзя будет, только защищаться с грехом пополам; ну, да это уж твое дело; если ж не хочешь, то, пока те трое спереди нападать на тебя будут, я сзади за шиворот схвачу». Только четвертый отошел себе в сторону. «Моя, – говорит, – хата с краю, я ничего не знаю».

Как стали бы мы, спрашиваю, судить о подобных поступках? А в этой притче нет ни малейшего преувеличения или карикатуры, только простая перефразировка: суд чести – Венская конференция; черта – Дунай; рука и нога, которым надлежало быть связанными, – флот, которым Россия не должна была препятствовать подвозу оружия черкесам, и т. д. Разве, в самом деле, не Синопское сражение послужило более нежели странным предлогом к объявлению войны морскими державами? Разве Австрия не требовала очищения и нейтралитета Дунайских княжеств, подвергая тем Россию ударам ее врагов и лишая ее возможности самой наносить их, заставляя вместо сухопутной вести морскую войну? Кто же тут, спрашивается, оскорбленный и обиженный? Не до очевидности ли ясно, что войны с Россией искали во что бы то ни стало? Не Франция ли с самого начала нарушила своими неумеренными требованиями мир между соперничающими церквями и заставила Россию вступить за своих единоверцев? Не Турция ли после сего обманула Россию, не сдержав данного обещания о фирмане? Не Франция ли опять, придвинув свой флот к Дарданеллам, вынудила Россию к занятию Дунайских княжеств? Затем, когда Россия согласилась предоставить решение спора посредничеству четырех великих держав и безусловно приняла предложенный ими текст ноты, не западные ли державы, а преимущественно не Англия ли через своего посланника, постоянно враждебного России лорда Редклифа, подстрекнула Турцию не принимать ее и – чтобы разом покончить с дипломатией, посредством которой никак не удавалось выставить Россию зачинщицей дела, – прямо объявить ей войну?

Есть ли, в самом деле, малейшая возможность думать, чтобы Турция решилась пренебречь мнением всей Европы и, отвергнув его, объявить войну России при убеждении, что предложенная ей нота составляла не ловушку, а действительное, честно выраженное мнение Европы, и без подстрекательства обещанием самой деятельной помощи? Наконец, не дики ли

требования западных держав, чтобы Россия, будучи в войне с Турцией, спокойно смотрела на то, как будут подвозить оружие и вообще помогать черкесам, и употребляла для своей защиты одну лишь армию, но никак не флот? Не эти ли нелепые требования, по необходимости ею отвергнутые, послужили предлогом к войне? Что же сказать еще о требованиях Австрии, которая, выгораживая Турцию, вносит войну в пределы самой России? Что сказать, наконец, о Сардинии, так себе, здорово живешь, ни с того ни с сего объявляющей войну России не только уж без причины, но даже и без малейшей тени предложения? Неужели все это не показывает какого-то озлобления, какой-то решимости пренебречь всем, лишь бы только удовлетворить своему желанию унижить Россию, когда к тому представляется наконец благоприятный, по-видимому, случай? Все это становится особенно любопытным, если сравнить такое озлобление против России с той снисходительностью, которая была оказана к действиям Пруссии и Австрии относительно Дании. И если б еще можно было отнести это к макиавеллизму дворов или только правительственных сфер европейских держав, увидавших благоприятный случай поживиться на счет России, – совсем нет! В настоящее время интриги вроде замыслов кардинала Альберони стали совершенно невозможны. Все европейские правительства должны соображаться с настроением общественного мнения и весьма часто даже вынуждаются им к действиям. Так было и в восточном вопросе. Правительство Англии, т. е. министерство Абердина, было не только миролюбиво, но даже дружественно расположено к России; то же самое должно сказать и о большей части германских правительств. Одна только сила общественного мнения принудила Англию к войне и сменила министерство за то, что оно не вело войны с достаточной энергией. Столь же враждебно, если еще не более, было это мнение в Пруссии и в остальной Германии и если не увлекло их в войну, то потому, что не получило еще там такого могущества, как в Англии. Каждый успех, одержанный не только западными державами, но даже и турками, праздновался везде как успех общего дела всей Европы. Правда, что новое правительство Франции искало случая к войне; но почему же выбрало оно именно эту войну, которая сама по себе не представляла ему никаких положительных выгод, была даже противна здравому понятию политическим интересам Франции? А Наполеон, конечно, понимал их здраво. Но он знал, что это будет самая популярная в Европе война, единственная, способная примирить ее с Наполеоновской династией, на которую она вообще смотрела с недоверием и недоброжелательством; и результат вполне оправдал такой расчет.

Следовательно, в этом деле общественное мнение Европы было гораздо враждебнее к России, нежели ее правительственные дипломатические сферы. Совершенно наоборот, в шлезвиг-голштейнском вопросе общественное мнение вне Германии хотя вообще и не одобряло действий Австрии и Пруссии и стояло почти повсеместно за Данию, но было вообще холодно, вяло, не имело той стремительности, которая увлекает за собой правительства, и потому оставляло им не только полную свободу действовать по усмотрению их благоразумия, но даже высказывалось как в журналах, так и в многочисленных митингах против войны. Откуда же, спрашивается опять, это меряние разными мерами и это вешание разными весами, когда дело идет о России и о других европейских государствах? Представленный разбор и тщательное сравнение шлезвиг-голштейнского вопроса с восточным в их сущности и в их форме не дает, как мы видели, ключа к этой загадке, а, напротив, еще более затрудняет ее отгадку. Не возбудила ли Россия своими прежними делами, своими насилиями справедливых опасений и негодования Европы, так что Европа воспользовалась первым представившимся случаем, чтобы расчитаться за прошедшее и оградить себя в будущем? Посмотрим, может быть, оно и в самом деле так!

Глава II

Почему Европа враждебна России?

*Мы слышим клеветы, мы знаем оскорбленья
Тысячеглавой лжи газет,
Измены, зависти и страха порожденья.
Друзей у нашей Руси нет!*

«Взгляните на карту, – говорил мне один иностранец, – разве мы можем не чувствовать, что Россия давит на нас своею массой, как нависшая туча, как какой-то грозный кошмар?» Да, ландкартное давление действительно существует, но где же оно на деле, чем и когда выражалось? Франция при Людовике XIV и Наполеоне, Испания при Карле V и Филиппе II, Австрия при Фердинанде II действительно тяготели над Европой, грозили уничтожить самостоятельное, свободное развитие различных ее национальностей, и большого труда стоило ей освободиться от такого давления. Но есть ли что-нибудь подобное в прошедшей истории России? Правда, не раз вмешивалась она в судьбы Европы, но каков был повод к этим вмешательствам? В 1799-м, в 1805-м, в 1807 г. сражалась русская армия, с разным успехом, не за русские, а за европейские интересы. Из-за этих же интересов, для нее, собственно, чуждых, навлекла она на себя грозу двенадцатого года; когда же смела с лица земли полумиллионную армию и этим одним, казалось бы, уже довольно послужила свободе Европы, она не останавливалась на этом, а, вопреки своим выгодам – таково было в 1813 году мнение Кутузова и вообще всей так называемой русской партии, – два года боролась за Германию и Европу и, окончив борьбу низвержением Наполеона, точно так же спасла Францию от мщенья Европы, как спасла Европу от угнетения Франции. Спустя тридцать пять лет она опять, едва ли не вопреки своим интересам, спасла от конечного распада Австрию, считаемую, справедливо или нет, краеугольным камнем политической системы европейских государств. Какую благодарность за все это получала она – как у правительств, так и у народов Европы, – всем хорошо известно, но не в этом дело. Вот, однако же, все, чем ознаменовалось до сих пор деятельное участие России в делах Европы, за единственным разве исключением бесцельного вмешательства в Семилетнюю войну. Но эти уроки истории никого не вразумляют. Россия, – не устают кричать на все лады, – колоссальное завоевательное государство, беспрестанно расширяющее свои пределы, и, следовательно, угрожает спокойствию и независимости Европы. Это одно обвинение. Другое состоит в том, что Россия будто бы представляет собой нечто вроде политического Аримана, какую-то мрачную силу, враждебную прогрессу и свободе. Много ли во всем этом справедливого? Посмотрим сначала на завоевательность России. Конечно, Россия не мала¹, но большую часть ее пространства занял русский народ путем свободного расселения, а не государственного завоевания. Надел, доставшийся русскому народу, составляет вполне естественную область – столь же естественную, как, например, Франция, только в огромных размерах, – область, резко означенную со всех сторон (за некоторым исключением западной)

¹ Здесь кстати будет заметить, что Россия вовсе не составляет огромнейшего государства в мире, как привыкли думать и говорить. Эта честь бесспорно принадлежит Британскому государству. Чтобы убедиться в этом, стоит только хорошенько посчитать, хотя бы с календарем в руках. Пространство России, по новейшим сведениям, составляет около 375 000 кв. миль. Посмотрим же, сколько наберется во всех английских владениях. В Европе 5 570; в Азии 63 706; в Африке 6 636; в Южной и Средней Америке 5 326; в Северной Америке: Канада с принадлежностями 64 000 и полярные страны, за исключением Гренландии (20 000) и бывших русских владений (24 000), 130 000; наконец, в Австралии более 150 000. Итого с лишком 425 000 кв. миль, т. е. около 50 000 кв. миль более, чем во всей России. (...) – *Примеч. авт.*

морями и горами. Область эта перерезывается на два отдела Уральским хребтом, который, как известно, в своей средней части так полог, что не составляет естественной этнографической перегородки. Западная половина этой области прорезывается расходящимися во все стороны из центра реками: Северною Двиною, Невою – стоком всей озерной системы, Западною Двиною, Днепром, Доном и Волгою точно так же, как в малом виде Франция: Маасом, Сеною, Лоарою, Гаронною и Роною. Восточная половина прорезывается параллельным течением Оби, Енисея и Лены, которые также не разделены между собою горными преградами. На всем этом пространстве не было никакого сформированного политического тела, когда русский народ стал постепенно выходить из племенных форм быта и принимать государственный строй. Вся страна была или пустыней, или заселена полудикими финскими племенами и кочевниками; следовательно, ничто не препятствовало свободному расселению русского народа, продолжавшемуся почти во все первое тысячелетие его истории, при полном отсутствии исторических наций, которые надлежало бы разрушать и попирать ногами, чтобы занять их место. Никогда занятие народом предназначенного ему исторического поприща не стоило меньше крови и слез. Он терпел много неправд и утеснений от татар и поляков, шведов и меченосцев, но сам никого не утеснял, если не назовем утеснением отражения несправедливых нападений и притязаний. Воздвигнутое им государственное здание не основано на костях погранных народностей. Он или занимал пустыри, или соединял с собою путем исторической, нисколько не насильственной ассимиляции такие племена, как чудь, весь, меря или как нынешние зыряне, черемисы, мордва, не заключавшие в себе ни зачатков исторической жизни, ни стремлений к ней; или, наконец, принимал под свой кров и свою защиту такие племена и народы, которые, будучи окружены врагами, уже потеряли свою национальную самостоятельность или не могли долее сохранять ее, как армяне и грузины. Завоевание играло во всем этом самую ничтожную роль, как легко убедиться, проследив, каким образом достались России ее западные и южные окраины, сливающие в Европе под именем завоеваний ненасытимо алчной России. Но прежде надо согласиться в значении слова «завоевание». Завоевание есть политическое убийство или, по крайней мере, политическое изувечение; так как, впрочем, первое из этих выражений употребляется совершенно в ином смысле, скажем лучше: национальное, народное убийство или изувечение. Хотя определение это метафорическое, тем не менее оно верно и ясно. Впоследствии представится случай подробно изложить наши мысли о значении национальностей, но пока удовольствуемся афористическим положением, которое, впрочем, и не требует особых доказательств в наше время, ибо составляет, в теории по крайней мере, убеждение большинства мыслящих людей: *что всякая народность имеет право на самостоятельное существование в той именно мере, в какой сама его сознает и имеет на него притязание*. Это последнее условие очень важно и требует некоторого разъяснения. Если бы, например, Пруссия покорила Данию или Франция Голландию, они причинили бы этим действительное страдание, нарушили бы действительное право, которое не могло бы быть вознаграждено никакими гражданскими или даже политическими правами и льготами, дарованными датчанам или голландцам; ибо, кроме личной и гражданской, кроме политической, или так называемой конституционной, свободы, народы, жившие самостоятельною государственною и политическою жизнью, чувствуют еще потребность, чтобы все результаты их деятельности – промышленной, умственной и общественной – составляли их полную собственность, а не приносились в жертву чуждому им политическому телу, не терялись в нем, не составляли материала и средства для достижения посторонних для них целей. Они не хотят им служить, потому что каждая историческая национальность имеет свою собственную задачу, которую должна решить, свою идею, свою отдельную сторону жизни, которые стремится осуществить, – задачу, идею, сторону жизни, тем более отличные и оригинальные, чем отличное сама национальность от прочих в этнографическом, общественном, религиозном и историческом отношениях. Но необходимое условие для достижения всего этого составляет национально-политическая независимость.

Следовательно, уничтожение самостоятельности такой национальности может быть по всей справедливости названо национальным убийством, которое возбуждает вполне законное негодование против его совершителя. К этому же разряду общественных явлений относится и то, что я назвал национальным изувечением. Италия, например, ощущала действительное страдание оттого, что часть ее – Венеция – оставалась присоединенной к чуждому ей политическому телу – Австрии, хотя это и не составляло непреодолимого препятствия к развитию ее национальной жизни; точно так, как отсечение руки или ноги не прекращает жизни отдельного человека, но тем не менее лишает ее той полноты и разносторонности проявлений, к которым она была бы способна без этого увечья. Исторический народ, пока не соберет воедино всех своих частей, всех своих органов, должен считаться политическим калекою. Таковы были в недавнее время итальянцы; таковы до сих пор греки, сербы и даже русские, от которых отделены еще три или четыре миллиона их галицких и угорских единоплеменников. А сколько еще пока под спудом почивающих народностей, чающих своего воскресения! Сказанное здесь было бы, однако ж, несправедливо и неразумно относить и к таким племенам, которые не жили самостоятельную историческую жизнью, потому ли, что вовсе не имели для сего внутренних задатков, или потому, что обстоятельства для них сложились неблагоприятно и возможность их исторического развития была уничтожена в такой ранний период их жизни, когда они составляли только этнографический материал, еще не успевший принять формы политической индивидуальности, – так сказать, прежде, чем в них был вдунут дух жив. Такие племена – как, например, баски в Испании и Франции, кельты княжества Валисского и наши многочисленные финские, татарские, самоедские, остяцкие и другие племена – предназначены к тому, чтобы сливаться постепенно и нечувствительно с той исторической народностью, среди которой они рассеяны, ассимилироваться ею и служить к увеличению разнообразия ее исторических проявлений. Эти племена имеют, без сомнения, право на ту же степень личной, гражданской и общественной свободы, как господствующая историческая народность, но не на политическую самостоятельность, ибо, не имея ее в сознании, они и потребности в ней не чувствуют, и даже чувствовать не могут. Нельзя прекратить жизни того, что не жило; нельзя изувечить тела, не имеющего индивидуального объединения. Тут нет, следовательно, ни национального убийства, ни национального увечья, а потому нет и завоевания. Оно даже невозможно в отношении к таким племенам. Самый этимологический смысл слова «завоевание» неприменим к подчинению таких племен, ибо они и сопротивления не оказывают, если при этом не нарушаются их личные, имущественные и другие гражданские права. Когда эти права остаются неприкосновенными, им, собственно, и защищать более нечего.

После этого небольшого отступления, необходимого для уяснения понятия о завоевании, начнем наш обзор с северо-западного угла Русского государства, с Финляндии, – прямо с одного из политических преступлений, в которых нас укоряет Европа. Было ли тут завоевание в том именно значении национального убийства, которое придает ему ненавистный, преступный характер? Без сомнения, нет, так как не было и национальности, которую лишили бы при этом своего самостоятельного существования или изувечили отделением какой-либо составной ее части. Финское племя, населяющее Финляндию, подобно всем прочим финским племенам, рассеянным по пространству России, никогда не жило историческою жизнью. Коль скоро нет нарушения народной самостоятельности, то политические соображения относительно географической округленности, стратегической безопасности границ и т. п., сами по себе еще не могущие оправдать присоединения какой-либо страны, получают свое законное применение. Россия вела войну с Швецией, которая с самого Ништадтского мира не могла привыкнуть к мысли об уступке того, что по всем правам принадлежало России, и искала всякого, по ее мнению, удобного случая возобновить эту войну и вернуть свои прежние завоевания. Россия победила и приобрела право на вознаграждение денежное, земельное или другое, лишь бы оно не простиралось на часть самой Швеции, – ибо национальная территория неотчуждаема

и никакие договоры не могут освятить в сознании народа такого отчуждения, пока отчужденная часть не потеряет своего национального характера. Тогда, конечно, но только тогда, придется покориться невозвратно. Но мало сказать, что присоединением Финляндии от Швеции к России ничьи существенные права не были нарушены, выгоды самой Финляндии, т. е. финского народа, ее населяющего, более, чем выгоды России, требовали перемены владычества. Государство, столь могучее, как Россия, могло в значительной мере отказаться от извлечения выгод из приобретенной страны; народность, столь могучая, как русская, могла без вреда для себя предоставить финской народности полную этнографическую самостоятельность. Русское государство и русская народность могли довольствоваться малым; им было достаточно иметь в северо-западном углу своей территории нейтральную страну и доброжелательную народность вместо неприятельского передового поста и господства враждебных шведов. Государство и народность русская могли обойтись без полного слияния с собою страны и народности финской, к чему – конечно, по необходимости – должна была стремиться слабая Швеция, в отношении к которой Финляндия составляла три четверти ее собственного пространства и половину ее населения. И действительно, только со времени присоединения Финляндии к России начала пробуждаться финская народность и достигла наконец того, что за языком ее могла быть признана равноправность со шведским в отношении университетского образования, администрации и даже прений на сейме. Сделанное Россией для финской национальности будет, без сомнения, оценено беспристрастными людьми; во враждебном лагере, конечно, возбуждает оно пока только негодование, доходящее иногда до смешного. В мою бытность в Норвегии меня серьезно уверял один швед, что русское правительство, из вражды к Швеции, искусственно вызвало финскую национальность и сочинило, с этой именно целью, эпическую поэму Калевалу. Удивительное правительство, которое, по отзывам поляков, указами создает русский язык и научает ему своих монгольских подданных, а по отзывам шведов, сочиняет народные эпосы!

За Финляндией, пропуская Ингерманландию – за обладание которой на нас, кажется, не сыплется укор, хотя и она была отбита у шведов, – мы встречаем так называемые немецкие Остзейские провинции (*die deutschen Ostsee Provinzen*), то есть немецкие владения по берегам Балтийского моря. По названию можно, пожалуй, подумать, что дело идет о завоеванных и отторгнутых русскими от Священной Римской империи или от заменившего ее Германского союза провинциях Пруссии и Померании, составляющих в настоящее время единственные действительно немецкие провинции при Балтийском море, а не о населенном эстами и латышами пространстве от Чудского озера и реки Наровы до прусской границы исконной принадлежности России, где еще Ярослав основал Юрьев, переименованный потом в Дорпат, – о пространстве, на поселение в котором первые рижские епископы считали нужным испрашивать дозволение у полоцких князей. Кто были завоевателями в этой стране: русские ли, то есть славяне, которые в союзе с разными чудскими племенами положили основание Русскому государству и мирными путями вносили христианство с зачатками образованности в эту прибалтийскую страну точно так же, как и в прочие части своей, составляющей одно физическое целое государственной области; или незванные и непрошенные немецкие искатели приключений, явившиеся сюда огнем и мечом распространять духовное владычество пап, обращать туземцев в рабство и присваивать себе чужую собственность? Россия никогда не признавала этого вторжения пришельцев! Псков и Новгород, стоявшие здесь на страже земли Русской в тяжелую татарскую годину, не переставали протестовать против него с оружием в руках. Когда же Москва соединила в себе Русь, она сочла своим первым долгом уничтожить рыцарское гнездо и возвратить России ее достояние. Первое удалось на первых же порах, но сама страна перешла в руки Польши и Швеции, и борьба за нее соединилась с борьбою за прочие области, отторгнутые этими государствами от России. Но это только еще одна сторона дела; самое присоединение главной части Прибалтийского края совершилось даже не вопреки желанию пришло

дворянства, а по его же просьбам и наущениям, при стараниях и помощи его представителя – героя Паткуля. Можно утверждать, что для самого народа, коренного обладателя страны, эстов и латышей, Россия хотя и сделала уже кое-что, однако ж далеко не все, чего могли они от нее ожидать; но, конечно, не за это упрекает ее Европа, не в этом видит она ту черту, по которой в ее глазах присоединение Прибалтийского края имеет ненавистный завоевательный характер. Совершенно напротив, в том немногом, что сделано – или, лучше сказать, в том, чего она опасается со стороны России, – для истинного освобождения народа и страны, она и видит, собственно, русскую узурпацию, оскорбление германской и вообще европейской цивилизации.

За Прибалтийскими областями начинается страна, известная ныне под именами Северо-Западного и Юго-Западного края, а прежде именовавшаяся польскими провинциями. Недалеко то время, когда было бы нелишним исписать не одну страницу всевозможных доказательств для убеждения в том, что это русский край, что Россия никогда его не завоевывала: ибо нельзя завоевать того, что наше без всякого завоевания, всегда таким было, всегда даже таким считалось всем русским народом, пока в высших слоях его не начали иссякать живой народный смысл и живое народное чувство, пока, вследствие того, многие из этих слоев не допустили отуманить свой ум нелепыми гуманитарными бреднями, не имеющими даже достоинства искренности и беспристрастия. Поляки и Европа взяли на себя, к счастью, труд несколько протрезвить русских в этом отношении, и, хотя, к сожалению, несмотря на все свои старания, не столько еще успели в этом, как бы следовало желать, так крепко забились гуманитарные бредни в русские головы, достигли, однако же, того, чего не сделали бы самые основательные и длинные диссертации, – избавили от труда доказывать, что Северо-Западный и Юго-Западный край – точно такая же Россия и на точно таких же основаниях, как и самая Москва.

Но в Северо-Западном крае есть небольшая земля, именно Белостокская область, на которой нелишним будет несколько остановиться. Эта область, вместе с северною частью нынешнего Царства Польского, Познанским герцогством и Западной Пруссией, досталась при разделе Польши на долю Пруссии. В седьмом году, по Тильзитскому миру, она отошла к России. Сколько возгласов по этому случаю в немецких сочинениях о вероломстве России, постыдно согласившейся принять участие в разграблении бывшей своей несчастной союзницы! Стоит только бросить взгляд на карту, чтоб убедиться в недобросовестности такого обвинения.

Белостокская область прилегает к восточной границе Царства Польского. Из северной части теперешнего Царства, к которой через два года присоединена была и южная, и из Познанской провинции составил Наполеон герцогство Варшавское. Этим была разорвана связь между Белостокской областью и уцелевшими от разгрома прусскими владениями. Для Пруссии, следовательно, Белостокская область была, во всяком случае, потеряна; Пруссии оставалось одно из двух: видеть ее или в руках враждебного ей Варшавского герцогства, соединенного с враждебной же Саксонией, или в руках дружественной России. Могло ли тут быть сомнение в выборе самой Пруссии? Что касается до России, то очевидно, что она считала Белостокскую область присоединяемою к ней не от Пруссии – от которой эта область была уже отнята самим фактом образования Варшавского герцогства, – а от этого последнего, обеим им неприязненного государства. Где же тут вероломство? Впоследствии же, когда Царство Польское в возмездие за услуги, оказанные Россией Европе, было присоединено к России, Пруссия получила достаточное вознаграждение за отошедшую от нее часть Польши, а Белостокская область не могла быть ей возвращена, потому что оставалась отделенной от нее Царством Польским, как прежде герцогством Варшавским, которое (если не считать выделенного из него Познанского герцогства) переменило только название.

Не может ли, однако, самое Царство Польское назваться завоеванием России, так как в силу выше данного определения тут было, по-видимому, национальное убийство? Этот вопрос заслуживает рассмотрения, потому что в суждениях и действиях Европы по отношению к нему проявляется также – если еще не более, чем в восточном вопросе сравнительно с шлезвиг-гол-

штейнским, – та двойственность меры и та фальшивость весов, которыми она отмеривает и отвешивает России и другим государствам.

Раздел Польши считается во мнении Европы величайшим преступлением против народного права, совершенным в новейшие времена, и вся тяжесть его взваливается на Россию. И это мнение не газетных крикунов, не толпы, а мнение большинства передовых людей Европы. В чем же, однако, вина России? Западная ее половина во время татарского господства была покорена Литвой, вскоре обрусевшей, затем через посредство Литвы – сначала случайно (по брачному союзу), а потом насильственно (Люблинской унией) – присоединена к Польше. Восточная Русь никогда не мирилась с таким положением дел. Об этом свидетельствует непрерывный ряд войн, перевес в которых сначала принадлежал большей частью Польше, а со времени Хмельницкого и воссоединения Малороссии окончательно перешел к России. При Алексее Михайловиче Россия не имела еще счастья принадлежать к политической системе европейских государств, и потому у ней были развязаны руки и она была единственным судьей в своих делах. В то время произошел первый раздел Польши. Россия, никого не спрашиваясь, взяла из своего, что могла: Малороссию по левую сторону Днепра, Киев и Смоленск, взяла бы и больше, если бы надежды на польскую корону не обманули царя и заставили упустить благоприятное время. Раздел Польши, насколько в нем участвовала Россия, мог бы совершиться уже тогда, – с лишком за сто лет ранее, чем он действительно совершился, и, конечно, с огромною для России пользою, ибо тогда не бродили еще гуманитарные идеи в русских головах; и край был бы закреплен за православием и русской народностью прежде, чем успели бы явиться на пагубу русскому делу Чарторыйские с их многочисленными последователями и сторонниками, процветающими под разными образами и видами даже до сего дня. Как бы то ни было, дело не было окончено, а едва только начато при Алексее, и раз упущенное благоприятное время возвратилось не ранее как через сто лет, при Екатерине II. Но почему же то, что было законно в половине XVII века, становится незаконным к концу XVIII? Самый повод к войне при Алексее одинаков – все то же утеснение православного населения, взывавшего о помощи к родной России. И если справедливо было возвратить Смоленск и Киев, то почему же было несправедливо возвратить не только Вильну, Подолию, Полоцк, Минск, но даже Галич, который, к несчастью, вовсе не был возвращен? А ведь в этом единственно и состоял раздел Польши, насколько в нем участвовала Россия! Форма была, правда, иная. В эти сто лет Россия имела счастье вступить в политическую систему европейских государств, и руки ее были связаны. Свое ли, не свое родовое достояние ты возвращаешь, как бы говорили ей соседи, нам все равно; только ты усиливаешься, и нам надобно усилиться на столько же. Положение было таково, что Россия не имела возможности возвратить по праву ей принадлежащего, не допуская в то же время Австрию и Пруссию завладеть собственно Польшей и даже частью России – Галичем, – на что ни та ни другая, конечно, не имели ни малейшего права. Первоначальная мысль о таком разделе принадлежит, как известно, Фридриху, и в уничтожении настоящей Польши, в ее законных пределах, Россия не имела никакой выгоды. Совершенно напротив, Россия, несомненно, сохранила бы свое влияние на Польшу и по отделении от нее русских областей, тем более что в ней одной могла бы Польша надеяться найти опору против своих немецких соседей, которым (особенно Пруссии) было весьма желательно, даже существенно необходимо получить некоторые части собственной Польши. Но не рисковать же было России из-за этого войною с Пруссией и Австрией! Не очевидно ли, что все, что было несправедливо в разделе Польши – так сказать, убийство польской национальности, – лежит на совести Пруссии и Австрии, а вовсе не России, удовлетвовавшейся своим достоянием, возвращение которого не только составляло ее право, но и священнейшую обязанность. Или найдутся, быть может, гуманитарные головы, которые скажут, что великодушие требовало от России скорее отказаться от принадлежащего ей по праву, чем согласиться на уничтожение самой Польши? Ведь это все, чем можно упрекнуть Россию, став на самую донкихотскую точку зрения. Такой образ действий был бы, пожа-

луй, возможен, если бы Польша иначе поступала со своими русскими и православными подданными; в данных же обстоятельствах это было бы смешным и жалким великодушничаньем на чужой счет. Если бы частный человек, лишенный части своего достояния, для возвращения его принужден был, не имея возможности этого иначе достигнуть, войти в соглашение с соседями, заведомо желающими воспользоваться сим благоприятным случаем, дабы без малейшего на то права захватить и ту долю собственности неправого владельца, которая, несомненно, ему принадлежит, мы, без сомнения, должны были бы сказать, что он поступил несогласно с правилами христианской нравственности. Но применение этих правил к междугосударственным и даже международным отношениям было бы странным смешением понятий, доказывающим лишь непонимание тех оснований, на которых зиждятся эти высшие нравственные требования. Требование нравственного образа действий есть не что иное, как требование самопожертвования. Самопожертвование есть высший нравственный закон. Собственно говоря, это тождественные понятия. Но единственное основание для самопожертвования есть бессмертие, вечность внутренней сущности человека; ибо для того, чтобы строгий закон нравственности или самопожертвования не был нелепостью, заключающей в себе внутреннее противоречие, очевидно, необходимо, чтобы он вытекал из внутренней природы того, кто должен на его основании действовать, точно так же, как и во всех природных, или, что то же самое, божественных законах. <...> Но если для человека все оканчивается здешнею жизнью, то, без сомнения, и законы его деятельности не могут ниоткуда иначе почерпаться, как из требований этой же жизни, из того, что составляет ее сущность, то есть из требований временного спокойствия, счастья, благоденствия, в которых каждое существо находит конечную и даже единственно вообразимую цель своего бытия. Только в том случае, ежели не в этом, заключается внутренняя потребность нашей сущности, духа – как мы его называем, – если в нем содержится нечто иное, неисчерпываемое содержанием временной земной жизни; может быть выставляемо и иное начало для его деятельности, начало нравственности, любви и самопожертвования. Но государство и народ суть явления преходящие, существующие только во времени, и, следовательно, только на требовании этого их временного существования могут основываться законы их деятельности, то есть политики. Этим не оправдывается макиавеллизм, а утверждается только, что всякому свое, что для всякого разряда существ и явлений есть свой закон. Око за око, зуб за зуб, строгое право, бентамовский принцип утилитарности, то есть здраво понятой пользы, – вот закон внешней политики, закон отношений государства к государству. Тут нет места закону любви и самопожертвования. Не к месту примененный, этот высший нравственный закон принимает вид мистицизма и сентиментальности, как мы видели тому пример в блаженной памяти Священном союзе. Заметим, кстати, что начало здраво понятой пользы, очевидно, недостаточное и негодное как основание нравственности, должно дать гораздо лучшие результаты как принцип политический, по той весьма простой причине, что он применяется здесь к своему настоящему месту. В самом деле, в течение долговечной жизни государства есть большое вероятие, что угроза, служащая основой утилитарного начала – т. е. его санкция, заключающаяся в словах: «Ею же мерою мерите – возмерится и вам», – успеет возыметь свое действие; тогда как в кратковременную жизнь человека каждый, имеющий достаточно средств, власти, хитрости, может весьма основательно надеяться, что ему удастся избежать последствий, выраженных в приведенных словах.

Итак, раздел Польши, насколько в нем принимала участие Россия, был делом совершенно законным и справедливым, был исполнением священного долга перед ее собственными сынами, в котором ее не должны были смущать порывы сентиментальности и ложного великодушия, как после Екатерины они, к сожалению и к общему несчастью России и Польши, смущали ее и смущают многих еще до сих пор. Если при разделе Польши была несправедливость со стороны России, то она заключалась единственно в том, что Галич не был воссоединен с Россией. Несмотря на все это, негодование Европы обрушилось, однако же, всюю своей тяже-

стью не на действительно виновных – Пруссию и Австрию, – а на Россию. В глазах Европы все преступление раздела Польши заключается именно в том, что Россия усилилась, возвратив свое достояние. Если бы не это горестное обстоятельство, то германизация славянской народности – хотя для нее самой любезной из всех, но все же таки славянской, – не возбудила бы столько слез и плача. Я думаю даже, что, совершенно напротив, после должных лицемерных соболезнований она была бы втайне принята с общеою радостью как желательная победа цивилизации над варварством. Ведь знаем же мы, что она не пугает европейских и наших гуманитарных прогрессистов, даже когда является в форме австрийского жандарма (см. Атений). Разве одни французы пожалели бы, что лишились удобного орудия мутить Германию. Такое направление общественного мнения Европы очень хорошо поняла и польская интеллигенция; она знает, чем задобрить Европу, и отказывается от кровного достояния Польши, доставшегося Австрии и Пруссии, лишь бы ей было возвращено то, что она некогда отняла у России; чужое ей милее своего. Кому случалось видеть отвратительное, но любопытное зрелище драки между большими ядовитыми пауками, называемыми фалангами, тот, конечно, замечал, как нередко это злобное животное, пожирая с яростью одного из своих противников, не ощущает, что другой отъел уже у него зад. Не представляют ли эти фаланги истинную эмблему шляхетско-иезуитской Польши – ее символ, герб, выражающий ее государственный характер гораздо вернее, чем одноглавый орел?

Но как бы ни была права Россия при разделе Польши, теперь она владеет уже частью настоящей Польши и, следовательно, должна нести на себе упрек в неправоном стяжании, по крайней мере, наравне с Пруссией и Австрией. Да, к несчастью, владеет! Но владеет опять-таки не по завоеванию, а по тому сентиментальному великодушию, о котором только что было говорено. Если бы Россия, освободив Европу, предоставила отчасти восстановленную Наполеоном Польшу ее прежней участи, то есть разделу между Австрией и Пруссией, а в вознаграждение своих неоценимых, хотя и плохо оцененных, заслуг потребовала для себя восточной Галиции, частью которой – Тарнопольским округом – в то время уже владела, то осталась бы на той же почве, на которой стояла при Екатерине, и никто ни в чем не мог бы ее упрекнуть. Россия получила бы значительно меньше по пространству, не многим меньше по народонаселению, но зато скольким больше по внутреннему достоинству приобретенного, так как она увеличила бы число своих подданных не враждебным польским элементом, а настоящим русским народом.

Что же заставило императора Александра упустить из виду эту существенную выгоду? Что ослепило его взор? Никак не завоевательные планы, а желание осуществить свою юношескую мечту – восстановить польскую народность и тем загладить то, что ему казалось проступком его великой бабки. Что это было действительно так, доказывается тем, что так смотрели на это сами поляки. Когда из враждебного лагеря, из Австрии, Франции и Англии, стали делать всевозможные препятствия этому плану восстановления Польши, угрожая даже войной, император Александр послал великого князя Константина в Варшаву призывать поляков к оружию для защиты их национальной независимости. Европа, по обыкновению, видела в этом со стороны России хитрость – желание, под предлогом восстановления польской народности, мало-помалу прибрать к своим рукам и те части прежнего Польского королевства, которые не ей достались, – и потому соглашалась на совершенную инкорпорацию* Польши, но никак не на самостоятельное существование Царства в личном династическом союзе с Россией, чего теперь так желают. Только когда Гарденберг, который как пруссак был ближе знаком с польскими и русскими делами, разъяснил, что Россия требует своего собственного вреда, согласились дипломаты на самостоятельность Царства². Последующие события доказали, что планы России были не честолюбивы, а только великодушны. Если бы русское правительство поддерживало в поляках надежду на присоединение к царству прусских и австрийских частей быв-

² Русский Вестн., февр. 1865 г. Ст. проф. Соловьева: «Венский конгресс», стр. 433 и 434. – *Примеч. авт.*

шей Польши, как этого, например, впоследствии желал маркиз Велепольский, или бы только сквозь пальцы смотрела на клонящиеся к тому интриги, конечно, не случилось бы того, что восстание вспыхнуло в Царстве Польском, а не в Познани или в Галиции, ибо внутренних причин, заключающихся в неудовлетворительном состоянии края, для этого восстания не было. Как бы кто ни судил о дарованной Царству конституции, свобода, которою оно пользовалось, была, во всяком случае, несравненно значительнее, чем в означенных провинциях Пруссии и Австрии, чем в самой Пруссии и Австрии, чем даже в большей части тогдашней Европы. Время с 1815 по 1830 год, в которое Царство пользовалось независимым управлением, особой армией, собственными финансами и конституционными формами правления, было, без сомнения, и в материальном, и в нравственном отношениях счастливейшим временем польской истории. Восстание ничем другим не объясняется, как досадою поляков на неосуществление их планов к восстановлению древнего величия Польши, хотя бы то было под скипетром русских государей; конечно, только для начала. Но эти планы были направлены не на Галицию и Познань, а на западную Россию, потому что тут только были развязаны руки польской интеллигенции – сколько угодно полячить и латыннить. И только когда, по мнению польской интеллигенции, стало оказываться недостаточно потворства или, лучше сказать, содействия русского правительства – ибо потворства все еще было довольно – к ополчению западной России, тогда негодование поляков вспыхнуло и привело к восстанию 1830-го, а также и 1863 года. Вот как честолюбивы и завоевательны были планы России, побудившие ее домогаться на Венском конгрессе присоединения Царства Польского!

В юго-западном углу России лежит Бессарабия, также недавнее приобретение. Здесь христианское православное население было исторгнуто из рук угнетавших его диких и грубых завоевателей, турок, – население, которое торжествовало это событие как избавление из плена. Если то было завоевание, то и Кир, освободив иудеев из плена вавилонского, был их завоевателем. Об этом и распространяться больше не стоит.

Все южнорусские степи также были вырваны из рук турок. Степи эти принадлежат к русской равнине. Спокон века, еще со времен Святослава, боролись за них с ордами кочевников сначала русские князья, потом русские казацкие общины и русские цари. Зачем же и с какого права занесло сюда турецкую власть, покровительствовавшую хищническим набегам? То же должно сказать и о Крымском полуострове, хотя и не принадлежавшем исстари к России, но послужившем убежищем не только ее непримиримым врагам, но врагам всякой гражданственности, которые делали из него набеги при всяком удобном случае, пожигали огнем и посекали мечом южные русские области до самой Москвы. Можно, пожалуй, согласиться, что здесь было завоевано государство, лишена своей самостоятельности народность; но какое государство и какая народность? Если я назвал всякое вообще завоевание национальным убийством, то в этом случае это было такое убийство, которое допускается и Божескими, и человеческими законами, убийство, совершенное в состоянии необходимой обороны и вместе с тем в виде справедливой казни.

Остается еще Кавказ. Под этим многообъемлющим именем надобно отличать, в рассматриваемом здесь отношении, закавказские христианские области, закавказские магометанские области и кавказских горцев.

Мелкие закавказские христианские царства еще со времен Грозного и Годунова молили о русской помощи и предлагали признать русское подданство. Но только император Александр I в начале своего царствования после долгих колебаний согласился наконец исполнить это желание, убедившись предварительно, что грузинские царства, донельзя истомленные вековой борьбой с турками, персиянами и кавказскими горцами, не могли вести долее самостоятельного существования и должны были или погибнуть, или присоединиться к единой России. Делая этот шаг, Россия знала, что принимает на себя тяжелую обузу, хотя, может быть, не предугадывала, что она будет так тяжела, что она будет стоять ей непрерывной

шестидесятилетней борьбы. Как бы то ни было, ни по сущности дела, ни по его форме тут не было завоевания, а было подание помощи изнемогавшему и погибавшему. Прежде всего это вовлекло Россию в двукратную борьбу с Персией, причем не Россия была зачинщицей. В течение этой борьбы ей удалось освободить некоторые христианские населения от двойного ига мелких владетельных ханов и персидского верховенства. С этим вместе были покорены магометанские ханства: Кубанское, Бакинское, Ширванское, Шекинское, Ганджинское и Талышское, составляющие теперь столько же уездов, и Эриванская область. Назовем, пожалуй, это завоеваниями, хотя завоеванные через это только выиграли. Не столь довольны, правда, русским завоеванием кавказские горцы.

Здесь точно много погибло если не независимых государств, то независимых племен. После раздела Польши едва ли какое другое действие России возбуждало в Европе такое всеобщее негодование и сожаление, как война с кавказскими горцами и особенно недавно совершившееся покорение Кавказа. Сколько ни стараются наши публицисты выставить это дело как великую победу, одержанную общечеловеческою цивилизацией, ничто не помогает. Не любит Европа, чтобы Россия бралась за это дело. Ну, на Сырдарье, в Коканде, в Самарканде, у дикокаменных киргизов еще, куда ни шло, можно с грехом пополам допустить такое цивилизаторство – все же вроде шпанской мушки оттягивает, хотя, к сожалению, и в недостаточном количестве силы России; а то у нас под боком, на Кавказе; мы бы и сами тут поцивилизовали <...>. И по этому кавказскому (как и по польскому, как и по восточному, как и по всякому) вопросу можно судить о доброжелательстве Европы к России.

О Сибири и говорить нечего. Какое тут, в самом деле, завоевание? Где тут завоеванные народы и покоренные царства? Стоит лишь счесть, сколько в Сибири русских и сколько инородцев, чтобы убедиться, что большею частью это было занятие пустопорожного места, совершенное (как показывает история) казацкой удалью и расселением русского народа почти без содействия государства. Разве еще к числу русских завоеваний причислим Амурский край, никем не заселенный, куда всякое переселение было даже запрещено китайским правительством, неизвестно почему и для чего считавшим его своею собственностью?

Итак, в завоеваниях России все, что можно при разных натяжках назвать этим именем, ограничивается Туркестанскою областью, Кавказским горным хребтом, пятью-шестью уездами Закавказья и, если угодно, еще Крымским полуостровом. Если же разбирать дело по совести и чистой справедливости, то ни одно из владений России нельзя называть завоеванием – в дурном, антинациональном и потому ненавистном для человечества смысле. Много ли государств, которые могут сказать про себя то же самое? Англия у себя под боком завоевала независимое Кельтское государство – и как завоевала! – отняла у народа право собственности на его родную землю, голодом заставила его выселяться в Америку, а на расстоянии чуть не полуокружности Земли покорила царства и народы Индии в числе почти двухсот миллионов душ; отняла Гибралтар у Испании, Канаду у Франции, мыс Доброй Надежды у Голландии и т. д. Земли, пустопорожние или заселенные дикими неисторическими племенами – в количестве без малого 300 000 квадратных миль – я не считаю завоеваниями. Франция отняла у Германии Эльзас, Лотарингию, Франш-Конте, у Италии – Корсику и Ниццу; за морем покорила Алжир. А сколько было ею завоевано и опять от нее отнято! Пруссия округлила и соединила свои разбросанные члены за счет Польши, на которую не имела никакого права. Австрия мало или даже почти ничего не отняла мечом, но самое ее существование есть уже преступление против права народностей. Испания в былые времена владела Нидерландами, большей частью Италии, покорила и уничтожила целые цивилизации в Америке.

Ежели нельзя упрекнуть Россию в действительно совершенных ею завоеваниях, то, может быть, к ним были направлены ее стремления: неудача покушения не оправдывает еще преступника. Бросим взгляд на характер войн, которые она вела. Далеко заходить незначет. Все войны до Петра велись Россией за собственное существование – за то, что в несчастные времена ее

истории было отторгнуто ее соседями. Первая война, которую она вела не с этой целью и которой, собственно, началось ее вмешательство в европейские дела, была ведена против Пруссии. Достаточного резона на участие в Семилетней войне со стороны России, конечно, не было. Злословие Фридриха оскорбило Елизавету; его поступки, справедливо или нет, считались всей Европой наглыми нарушениями как международного права вообще, так и законов Священной Германско-Римской империи в частности. Если тут была вина, то ее разделяла Россия со всей Европой; так или нет, но это было явление случайное, не лежавшее в общем направлении русской политики. Во все царствование Екатерины Великой Россия деятельным образом не вмешивалась в европейские дела, преследовала свои цели, и цели эти, как мы видели, были цели правые. С императора Павла, собственно, начинаются европейские войны России. Война 1799 года, в чисто военном отношении, едва ли не славнейшая из всех веденных Россией, была актом возвышеннейшего политического великодушия, бескорыстия, рыцарства в истинно мальтийском духе. Была ли она актом такого же политического благоразумия – это иной вопрос. Для России, впрочем, война эта имела значительный нравственный результат: она показала, к чему способны русские в военном деле. Такой же характер имели войны 1805 и 1807 года. Россия принимала к сердцу интересы, ей совершенно чуждые, и с достойным всякого удивления геройством приносила жертвы на алтарь Европы. Тильзитский мир заставил ее на время отказаться от этой самоотверженной политики и повернуть в прежнюю екатерининскую колею; но выгоды, которые она могла, очевидно, приобрести, продолжая идти по ней, не удовлетворяли ее, не имели в глазах ее ничего приманчивого. Интересы Европы, особливо интересы Германии, так близко лежали к ее сердцу, что оно билось только для них. Что усилия, сделанные Россией в 1813 и 1814 году, были сделаны в пользу Европы – в этом согласны даже и теперь беспристрастные люди, к какому бы политическому лагерю они ни принадлежали, а тогда все прославляли беспримерное бескорыстие России. Но что самый двенадцатый год был борьбою, предпринятой Россией из-за интересов Европы, – это едва ли многими сознается. Конечно, война двенадцатого года была войною по преимуществу народною, народною в полном смысле этого слова, если принимать в расчет самый способ ее ведения и те чувства, которые в то время одушевляли русский народ. Но такова ли была эта славная война в своих причинах, то есть желание ли нарушить русские интересы побудило Наполеона предпринять ее? На это едва ли можно отвечать утвердительно. Причины этой колоссальной борьбы – низвергнувшей Наполеона и приведшей к таким громадным последствиям – до того ничтожны, что невозможно понять, как могли они заставить Наполеона ринуться в такое опасное, рискованное предприятие без всякой нужды, имея на руках у себя Испанию. Что приводится, в самом деле, поводом, побудившим Наполеона собрать 600-тысячную армию и вторгнуться с ней в отдаленную страну – неизобильную ресурсами, с дурными путями сообщения – для борьбы с войском и народом, мужество которых было ему хорошо известно?.. Неточное соблюдение Тильзитского договора Россией, допускавшей под рукою некоторую торговлю с Англией, когда Наполеон сам у себя допускал подобные же уклонения от правил континентальной системы, и протест России против захвата Ольденбурга – вот и все. Всю неудовлетворительность этих резонов думают достаточно дополнить, ссылаясь на ненасытимое честолюбие Наполеона. Конечно, Наполеон был честолюбив сверх меры, но был ведь также и расчетлив. Истинную причину войны, как Наполеон ее понимал, выразил он в словах, сказанных им Балашову: государь окружен личными его врагами, низкими людьми, как он выражался, – в том числе Штейном, негодяем, изгнанным из своего отечества, – то есть людьми, которым дороги были интересы Германии и которые старались образ мыслей императора Александра направить в эту сторону. Хорошо понятый и должным образом развитый смысл этих намеков объясняет все. Наполеон не мог не чувствовать, что сооруженное им здание очень шатко и кроме его высокого гения никаких других опор не имеет. Жеромы, Иосифы, Мюраты не в состоянии были поддержать его. Что же будет после его смерти, что оставит он своему сыну? Всемирное владычество, чувствовал

он, даже ему не под силу; надо было найти, с кем его разделить, и он думал после Тильзитского мира, что нашел этого товарища и союзника в России; другого, впрочем, и отыскать негде было. Он думал, что Россия из прямого политического расчета, из-за собственных своих целей и выгод будет с ним заодно. И в самом деле, чего бы не могла достигнуть Россия в союзе с ним, если бы смотрела на дело исключительно со своей точки зрения? Ревностная помощь в войне 1809 года дала бы ей всю Галицию; усиленная война против Турции доставила бы ей не только Молдавию и Валахию, но и Булгарию, дала бы ей возможность образовать независимое Сербское государство с присоединением к нему Боснии и Герцеговины. Наполеон не хотел только, чтобы наши владения переходили за Балканы, но Наполеон был не вечен. Самым герцогством Варшавским, которое в его глазах было только угрозой против России, он, вероятно, пожертвовал бы, раз убедившись, что Россия действительно вошла во все его планы, что, идя к выполнению своих целей, она столько же нуждается в нем, сколько он в ней, что она сама заинтересована в сохранении его могущества. Но вскоре после Тильзитского мира Наполеон увидел, что он не может полагаться на Россию, не может рассчитывать на ее искреннее содействие, основанное не на букве связывающего их договора, а на политическом расчете, что она формально держится данного обещания, но сердце ее не лежит к союзу с ним. В войне 1809 года помогла она только для виду; заступничество за Ольденбургское герцогство и еще более наплыв немецких патриотов, которых Наполеон, со своей точки зрения, называл негодяями (конечно, вовсе несправедливо), показывали ему, что Россия горячо принимает к сердцу так называемые европейские или, точнее, немецкие интересы; горячее, чем свои собственные. Что оставалось ему делать? К чему влекла его неудержимо логика того положения, в которое его поставило как собственное его честолюбие, так и самый ход событий? Очевидно, к тому, чтобы обеспечить себя иным способом, независимо от России, к тому, чтобы отыскать для подпоры своему зданию какой-нибудь другой столб, хотя бы и менее надежной крепости. Этот столб думал он вытесать за счет самой России, восстановив Польское королевство в его прежнем объеме. В нем надеялся он, по крайней мере, найти всегда готовое оружие против враждебной ему Германии. Иначе поступить Наполеону едва ли было возможно. И без войны политическое здание, им воздвигнутое, должно было рухнуть, если Россия не заинтересована в его поддержке, — рухнуть если не при нем, так после его смерти. Война, руководимая его гением, представляла, по крайней мере, шансы или вынудить Россию к этой поддержке, или заменить ее другим, хотя и менее твердым, но зато более зависимым и податливым орудием. Одним словом, если бы Наполеон мог рассчитывать на Россию, которая, как ему казалось, сама была заинтересована в его деле, он никогда бы не подумал о восстановлении Польши. От добра добра не ищут. В тринадцатом году, во главе новой собранной им армии, он высказал эту мысль самым положительным образом: «Всего проще и рассудительнее было бы сойтись прямо с императором Александром. Я всегда считал Польшу средством, а не главным делом. Удовлетворяя Россию за счет Польши, мы имеем средство унизить Австрию, обратить ее в ничто»³

³ Богданович. Ист. войны 1813 года. Том I, стр. 2. — *Примеч. авт.*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.